

Т. В. СМЕРНОВА

«... под покров Преподобного»

Очерки о некоторых известных семьях,
живших в Сергиевом Посаде
в 1920-е годы

Сергиев Посад
2008

Вместо предисловия

Во второй половине 1980-х годов в журнале "Огонек" печаталось много материалов о художниках, публиковались репродукции их произведений. Мое внимание привлекла картина И.В. Голицына "Трубецкие". На ней была изображена семья Трубецких на фоне Троице-Сергиевой Лавры. Рядом – черные надписи: «воин», «зек», кресты и даты смерти. Я знала, что усадьба Ахтырка, что в четырех километрах от Хотькова, города, где я живу, принадлежала князьям Трубецким. Но имели ли отношение ахтырские Трубецкие к тем, что на картине? Этого я не знала. И вот, когда в начале 1995 года я начала работать в Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике, в отделе, который тогда назывался краеведческим, решила это выяснить.

С чего начать? В то время я уже была немного знакома с заведующим отделом советского искусства Абрамцевского музея А.И. Куншенко, и обратилась к нему. В справочнике он нашел для меня адрес И.В. Голицына. Художник ответил на мое письмо и назначил встречу. В первый раз я опоздала: плохо поняла по телефону, где надо выйти из троллейбуса, и шла несколько километров по бесконечному шоссе Энтузиастов, бывшей Владимирке.

Нужный мне дом оказался двухэтажным кирпичным строением. Увитое облетевшей виноградной лозой, оно стояло в глубине двора в окружении многоэтажных современных зданий. Я отворила калитку, навстречу с лаем бросились собаки, одна из них – на трех лапах...

На земле у дома внимание привлекла скульптура лежащей женщины. На стене у входа – мемориальная доска художника В.А. Фаворского. В коридоре и на лестнице – афиши разных выставок.

Вошла, смущенная опозданием. Меня встретил показавшийся мне огромным красивый человек с гривой седых волос и громким голосом.

После первых же моих слов Илларион Владимирович сказал: «Так вы поезжайте прямо сейчас к Андрею Владимировичу Трубецкому. Я ему позвоню». И я отправилась на другой конец Москвы.

Так началось мое знакомство с Голицыными и Трубецкими. В результате в Сергиево-Посадском музее в 1996 году удалось сделать выставку «Князья Трубецкие в нашем крае».

Трубецкие познакомили меня со своими родственниками. Троюродная сестра А.В. Трубецкого Антонина Владимировна Комаровская оказалась кладезем информации не только о своей семье, но и об Олсуфьевых, Мансуровых, Истоминых, живших в 20-е годы в Сергиевом Посаде.

Четвероюродный брат А.В. Трубецкого Сергей Петрович Раевский написал подробные воспоминания о Сергиевом Посаде 1920-х годов, о своей семье и родственной семье Хвостовых.

А в том доме, где я впервые встретилась с И.В. Голицыным, как выяснилось, живут также дочь художника В.А. Фаворского Мария Владимировна и ее муж Дмитрий

Михайлович Шаховской, – это его скульптуру лежащей женщины я увидела на земле возле дома. Они познакомили меня со своими родными... И вскоре я поняла, что люди, приехавшие в послереволюционные годы в Сергиев Посад, были объединены родственными и дружескими связями. Они образовывали своего рода «социальную диаспору». Многие из них оказались связаны также с П.А. Флоренским, приехавшим в Посад еще в 1904 году. Очерки о судьбах некоторых из этих людей и составили книгу.

Названием книги стали слова графа Ю.А.Олсуфьева, который поселился в Сергиевом Посаде одним из первых. Видимо, и большинство людей, о которых я пишу, как люди глубоко верующие, не случайно выбрали в трудные времена город Преподобного Сергия.

Кроме основных печатных источников, которые указаны в конце книги, в очерках использованы сведения из архивов частных лиц. За возможность пользоваться ими я глубоко благодарна Андрею Владимировичу Трубецкому, Антонине Владимировне Комаровской, Сергею Петровичу Раевскому, Елизавете Михайловне Шик, Георгию Георгиевичу Дервизу, Марии Владимировне Шаховской, Вере Сергеевне Бобринской, отцу Савве Михалевичу, Петру Павловичу Павлинову.

Благодарю также Екатерину Михайловну Перцеву за подаренную мне книгу ее брата С.М. Голицына «Записки уцелевшего», являющуюся бесценным источником сведений о жизни в Сергиевом Посаде в 1920-х годах и о многих людях. Благодарю и Марию Сергеевну Трубачеву, подарившую книгу «П.А. Флоренский: арест и гибель», в которой содержатся, в частности, исключительно ценные материалы о кампании травли священника и разгроме Сергиевского историко-художественного музея в конце 1920-х годов, найденные С.М. Половинкиным и П.В. Флоренским.

Кроме биографических сведений о лицах, приехавших в Сергиев Посад в первой трети XX века, в очерки включены воспоминания о городе и его жителях, а также о его окрестностях, содержащиеся в мемуарах А.В. Комаровского, С.П. Раевского, С.М. Голицына, К.П. Трубецкой, в письмах Н.Я. Симонович-Ефимовой и дневниках М.М. Пришвина.

Название города, носящего имя Преподобного Сергия, менялось несколько раз: Сергиевский посад, Сергиев (с 1919 г.), Загорск (с 1930 г.), Сергиев Посад (с 1991 г.). В тексте он называется в основном современным именем – Сергиев Посад, независимо от того, как он назывался в описываемое время.

Желая предупредить упреки читателей в неполноте книги, поясняю, что я не ставила целью в очерках о П.А. Флоренском и В.В. Розанове изложить их философские взгляды, полагая, что для знакомства с ними надо обратиться к трудам этих людей и обширной литературе о них. Также я не стремилась дать оценку творчеству художников и писателей, которым посвящены некоторые очерки, считая, что такая оценка дана в искусствоведческих и литературоведческих книгах.

Буду благодарна всем за уточнения и дополнения, которые будут сделаны после прочтения этих очерков.

Дом на Валовой и его обитатели

В Оптине отец Анатолий благословил наше намерение приобрести дом в Сергиевом Посаде, куда мы и переехали жить под покров Преподобного.

Ю.А. Олсуфьев

Олсуфьевы

Свою усадьбу Красные Буйцы в Тульской губернии граф Юрий Александрович Олсуфьев покинул 5 марта 1917 года, взяв с собою икону Тихвинской Божией Матери и святого Николая Чудотворца. С ним в санях была жена, Софья Владимировна, в других санях – сын Миша с няней. «Не доезжая мельничного моста через Непрядву, – вспоминал Олсуфьев, – мы оба оглянулись на дорогу нашу усадьбу, на милый светлый дом на горе... Увидим ли мы его снова и когда, или в последний раз он представляется нашим взорам – таковы были наши мысли, полные грустных предчувствий».

Направились они сначала в Оптину пустынь к своему духовнику старцу Анатолию, затем в Москву. В Оптине отец Анатолий благословил их намерение приобрести дом в Сергиевом Посаде, куда, как писал граф, они «и переехали жить под покров Преподобного».

Граф Олсуфьев, по словам его родственницы А.В. Комаровской, обладал даром предвидения. И его отъезд из усадьбы сразу после Февральской революции – одно из доказательств этого дара. Но почему он направился тогда именно в Сергиев Посад? На землях Олсуфьевых находилось Куликово поле, где в 1380 году произошла судьбоносная битва, о которой А. Блок писал, что она «принадлежит к символическим событиям русской истории. Таким событием суждено возвращение. Разгадка их еще впереди».

Олсуфьевы воздвигли на Куликовом поле храм-памятник преподобному Сергию Радонежскому. Автором проекта был архитектор А.В. Щусев. Строительство было закончено уже после отъезда Олсуфьевых – в 1918 году. (К 600-летию Куликовской битвы храм реставрировали). Софья Владимировна Олсуфьева много сделала для организации при храме монастырской общины и мастерских шитья, сама вышивала для храма хоругви и плащаницу.

«Крестьяне, распахивая Куликово поле, находили оружие, разные старинные предметы и несли их графу, – рассказывал князь Сергей Голицын. – Так у него собрался настоящий музей, в котором была, например, такая ценность, как медный монашеский крест, найденный на Куликовом поле. Из летописей известно, что только два монаха находились в рядах русского воинства – Пересвет и Ослябя. Пересвет был убит в единоборстве с татарским богатырем Челибеем. Следовательно, крест принадлежал ему... Софья Владимировна была глубоко верующей. Когда наступила революция, она видела сон, будто к ней явился святой Сергей и сказал, чтобы она поселилась около его гроба. Она исполнила его волю».

В Сергиевом Посаде Олсуфьевы купили у купца Горяйнова двухэтажный дом (Вальная, 8). А.В. Комаровская вспоминала об этом доме так: «При близости к центру все это место было тихим и укромным. Окнами и крыльцом второго этажа дом выходил на улицу. Справа от него, за глухой оградой, был сад с тенистыми липами, куда выходили два балкона – верхний и нижний. Сад переходил в участок, засаженный яблонями, с огородом и зарослями малины, среди которых шла дорожка, кончавшаяся скамейкой над спуском к небольшому пруду, заросшему ряской. Все замыкалось небольшой полоской земли за прудом, только чтобы его обойти. По ней шел забор, за которым тек ручеек, а за ним пригорок и поле с огородами, через которые можно было пройти к первой железнодорожной будке и ближайшему лесу. С правой стороны поля у переезда глухо шумела небольшая текстильная, бывшая Зайцевская фабрика. С левой стороны пруда в саду стояла небольшая бревенчатая баня, а прямо за домом был двор с двумя каменными сараями, где помещались корова, лошадь, сеновал, дрова. Рядом погреб. Все вместе было образцом усадьбы с необходимым хозяйством.

Сейчас это место вытоптано, оголено, и нельзя понять, что раньше здесь было столько уголков и солнечных, и тенистых...».

Осенью 1918 года была создана Комиссия по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, и Олсуфьев с первого дня был назначен ее членом. К этому времени он уже имел солидные знания в области древнерусского искусства. Еще во время учебы на юридическом факультете Петербургского университета он дважды побывал в Италии для ознакомления с памятниками архитектуры и искусства. А когда после университета поселился в Буйцах, стал председателем Тульского общества охраны памятников искусства и старины, действительным членом Тульской архивной комиссии, активным членом нескольких ученых обществ России. В 1912–1914 годах он предпринял издание шеститомника «Памятники искусства Тульской губернии». Ежегодно отправлялся в путешествия по старинным русским городам и глухим местам нашей страны, изучал памятники древнерусского искусства в Ферапонтове, Кириллове, Ростове Великом.

По приезде в Сергиев Посад Олсуфьев был озабочен состоянием Троицкого собора Лавры, в котором покоятся мощи преподобного Сергия. Собор был сильно искажен к тому времени, он составил записку о его реставрации и на первом же заседании Комиссии прочел ее. С первых же дней он занялся описями ценностей Лавры: икон и серебряных вещей. Одновременно сразу же пришлось погрузиться в массу административно-хозяйственных дел. Впрочем, слово «пришлось» вряд ли здесь уместно. Олсуфьев просто кипел жаждой деятельности. Тут сказался и его исключительно энергичный характер, и привычка быть хозяином – ведь он около пятнадцати лет занимался хозяйством в своем имени, и занимался успешно. Он находился в расцвете сил – было ему сорок лет.

А между тем жизнь была очень нелегкой: в стране был голод. И весной 1921 года под руководством Ю.А. Олсуфьева образовалась сельскохозяйственная артель. Н.Д. Шик-Шаховская так писала об этом: «Под влиянием голода предшествующих лет и по инстинктивному тяготению "к земле" мы взялись за обработку участка земли. Основными членами маленькой артели были семьи Олсуфьевых, Мансуровых и наша. Главным нашим хозяйственным ресурсом были неутомимая энергия Юр[ия] Ал[ександровича] и собственные наши руки. Нам отвели нераспаханный участок плохой глинистой почвы.

Землю под картошку после вспашки, которая только подняла дерн, разбивали лопатами... Староста нашей маленькой артели – Юрий Ал[ександрович] постоянно кипел хозяйственным азартом, заражая им моего мужа».

Облик Олсуфьева запечатлен в воспоминаниях А.В. Комаровской: «В начале 1920-х годов Ю.А. Олсуфьеву было 40 с небольшим лет. Не очень высокого роста, с сосредоточенным и живым лицом, он, может быть, был похож на крестьянина, когда в зимние времена, в старенькой рыжей барашковой шапке и коричневой куртке, он со знанием дела запрягал лошадь или пилил дрова. Теперь, может быть, странно было бы услышать, как работавшая с ним девушка Саша, помогая ему, почтительно обращалась к нему, называя по-прежнему. Она была воспитанницей приюта, устроенного Олсуфьевыми в их имении Буйцы, откуда они ее взяли, уезжая, с собой. Она жила у них до своего замужества и после того, прожила всю жизнь в современном Загорске и умерла там старой, сравнительно недавно. Помню дядю Юрия всегда занятым или по хозяйству, или спешащим в Лавру на работу. Он держался несколько в стороне от большого круга знакомых, съехавшихся в это время в Сергиев Посад. И случалось, что совсем не выходил к гостям, которых принимала одна жена его, Софья Владимировна. Поэтому, вероятно, некоторые считали его нелюдимым, хотя это было совсем не так. В этом сказывалось его нежелание отвлекаться и рассеиваться в общих разговорах. Софья Владимировна была тогда молодой, но давно себя такой не считала. Она очень рано вышла замуж и в начале 1920-х годов была матерью уже взрослого сына. Высокая, худощавая, немного смуглая – такой изобразил ее В. Серов. Кажется, художник передал главные ее черты – великолепную простоту, полное отсутствие фальши и богатую внутреннюю жизнь. На портрете она причесана по моде 1910-х годов, в нарядном летнем платье. Я же помню ее в черном, повязанном назад платке, крайне просто одетой, спешащей на службу в Гефсиманский скит, или же дома, опустившей голову с прямым пробором над работой. Всегда она была быстрой, бодрой, веселой. Главная ее жизнь была в церкви. Подоив утром корову, она спешила в скит к ранней обедне – расстояние от города около трех километров, – так же торопливо возвращалась, чтобы поспеть к утреннему чаю дяди Юрия перед уходом его на службу. Дальше шел день, наполненный трудами, а летними вечерами они вдвоем еще успевали сходить погулять в поле, начинавшееся в конце улицы, и возвращались в сумерках – бодрые с букетами в руках...

Образы Олсуфьевых, для всех их знавших, неразрывно связаны с окружавшей их обстановкой. Они занимали наверху высокие, всегда прохладные комнаты. Дядя Юрий не выносил жары, придя домой, распахивал дверь на балкон. А сам при этом зимой ходил дома в летней полотняной куртке. Дверь с балкона вела в небольшую проходную столовую с круглым столом и стульями красного дерева с бронзой. На стенах висели старинные фарфоровые тарелки с цветами. По вечерам она освещалась желтоватым светом десятилинейной керосиновой лампы. Наиболее светлые спальня и кабинет были уставлены старинной мебелью павловского времени и полны памятных художественных предметов. На стенах картины, старинные портреты, рисунки, портрет Софьи Владимировны работы Серова. Перед образами в спальне всегда была зажжена большая пунцовая лампада. (Вещи были привезены преданными слугами из усадьбы. Серовский

портрет был впоследствии спасен художником П.И. Нерадовским; почти все остальное было расхищено или сожжено, как сообщает Г.И. Вздорнов. – Т.С.). В комнатах было уединенно, тихо, сокровенно. В такой обстановке, полной красивых, ярких и редких вещей, хозяева их жили требовательной к себе, почти суровой, трудовой жизнью. По словам Сергея Голубцова, по вечерам они ежедневно вычитывали монашеское правило, во всем подчиняться указаниям и советам своего духовника, очень в то время начитанного отца Порфирия, иеромонаха Гефсиманского скита... Помню, с каким волнением и радостью ждали здесь его посещения, сколько было торжественных и вместе с тем скромных приготовлений тети Сони».

Т.В. Розанова видела Олсуфьева и на работе, и дома (она работала машинисткой в Комиссии по охране памятников лавры и в музее): «Обыкновенно Юрий Александрович и Павел Александрович (Флоренский. – Т.С.) брали из ризницы или из фондов музея церковные предметы или книги, делали описи и определяли время их создания... В комнате у них было очень холодно. Я удивлялась их терпению и выносливости, но они, погруженные в работу, ничего не замечали... Таков был Юрий Александрович на работе - всегда подтянутый, аккуратный, исполнительный, молчаливый, погруженный всецело в свои занятия. На собраниях он редко бывал. Таким же молчаливым, серьезным он был дома. Также много работал по вечерам над своими научными трудами. Я часто у них бывала, заходила, главным образом, к Софье Владимировне. Бывало, сижу у нее в комнате, а Юрий Александрович уже зовет ее: "Соня, Соня, поди сюда!" Без Софьи Владимировны он не мог быть ни минуты, всегда ему надо было чувствовать ее присутствие. Иногда я у них оставалась пить чай на веранде, застекленной. С нами садились пить чай его племянница, Екатерина Павловна Васильчикова, и их домашняя работница Саша (сирота, бывшая воспитанница их приюта), которая была им очень предана и очень любила их. Юрий Александрович любил со мной разговаривать и подшучивать, но вообще он был строгий и молчаливый, и особенно не любил гостей, да, правда, к ним редко кто и приходил».

До революции, когда Олсуфьевы имели довольно большие средства благодаря тому, что Юрий Александрович наладил в Буйцах образцовое хозяйство, они широко занимались благотворительностью: построили не только храм, но и детский приют, и школу неподалеку от усадебного дома. Но и тогда, когда средства их стали весьма скудными, продолжали помогать людям. Когда в Сергиевом Посаде тяжело заболел В.В. Розанов, Софья Владимировна постоянно бывала у него. Олсуфьевы присутствовали при его кончине, взяли на себя все хлопоты по похоронам. В одном из последних писем, продиктованных В.В. Розановым, среди лиц, которых он просил позаботиться о его семье, он назвал и графа Олсуфьева. И Софья Владимировна исполнила его просьбу. Она навещала Розановых, подружилась с его дочерью, Татьяной Васильевной. И позже, когда в 1939 году тяжело больная Т.В. Розанова лежала в одной из московских больниц, С.В. Олсуфьева навещала ее, а потом взяла к себе и заботилась о ней.

А тогда, в Сергиевом Посаде, Олсуфьев внес в работу Комиссии свою кипучую энергию. В протоколах заседаний Комиссии отмечено, что в 1918–1919 годах он ставил на обсуждение вопросы охраны Лавры, сигнализации, телефона, отопления, кирпича для реставрационных работ, выбора места для канцелярии, работы башенных часов,

сокращения штатов, создания запаса дров, застекления расчищенных икон Троицкого собора и т.д., и т.п. Осенью 1919 г. Олсуфьев был назначен председателем Комиссии. К этому времени (ноябрю 1919 года) относится запись в дневнике историка Ю.В.Готье, который занимался передачей библиотеки Лавры в Библиотеку Румянцевского музея: «Очень характерно, что за всеми распоряжениями идут к Олсуфьеву: я сам был свидетелем, как его спрашивали, что делать с церковным вином, когда отпирать Успенский собор и т.п. Он произвел на меня впечатление истинного наместника Лавры».

Но весной 1920 года при реорганизации Комиссии Олсуфьев вынужден был подать заявление об отставке. Однако уже в августе Отдел по делам музеев Главнауки пригласил его в Комиссию на важнейшую должность эксперта по древнерусскому искусству.

С одной стороны, такое положение способствовало сосредоточению Олсуфьева на научной работе: он уже не вмешивался в хозяйственную деятельность Комиссии. Впрочем, и в этот период его привлекали к различным работам. Например, он был включен в 1920 году в состав Межведомственной комиссии по отбору вещей в ризнице Лавры для сдачи государству, так что, видимо, ему музей обязан сохранением некоторых ценных в художественном отношении предметов. В 1922 году происходил отбор предметов из золота и серебра для Помгола, от музея в Комиссии были Ю.А. Олсуфьев и В.Д. Дервиз.

Большое участие принимал Олсуфьев в выставках, на основе которых и создавались отделы Сергиевского историко-художественного музея. Для выставки «Древнерусская книга» 1921 года он сделал описание рукописных книг и провел их экспертизу. Выставка «Искусство XIV–XV веков» была проведена в 1924 году по его инициативе, и им написана вступительная статья к каталогу. Нельзя не отметить, прекрасный живой язык этой работы. Автор не пытался объяснить посетителям представленные предметы – он призывал поверить в величие древнего искусства: «В чем заключается эта действенность искусства Византийской культуры второй половины XIV и XV века? Мы сказали бы – в изумительной возвышенности его образов. Вглядитесь в эти гаммы чистых, ярких, сильных красок, блеском которых вас так пленительно озаряют цвета древней русской иконописи, шитья, миниатюры. <...> Вам начинает мниться какая-то чудесная сказка, которой вы когда-то верили. Вы углубляетесь в эту сказку, и по мере удаления от повседневности она постепенно становится для вас реальностью».

Очень жаль, что по условиям времени, когда популяризация церковного искусства, мягко говоря, не приветствовалась, Олсуфьевым написано так мало научно-популярных трудов. К их числу относятся две еще статьи для сборника-путеводителя «Троице-Сергиева лавра»: «Иконопись» и «Лицевые книги и их орнамент». (Сборник «Троице-Сергиева лавра, отпечатанный в 1919 году не поступал в продажу. Благодаря немногим уцелевшим экземплярам его удалось переиздать стараниями М.С. Трубачевой: Троице-Сергиева лавра. М., 2007). В статьях путеводителя Олсуфьев проследил эволюцию этих видов искусства во времени. Он представил развитие иконописи на примере икон Лавры, находившихся как в храме, так и в ризнице. Вершиной, по его мнению, является XV век. Чем ближе русская икона к XIV веку, тем эпичнее она, тем холоднее ее краски, – писал он. – XV век – век Андрея Рублева, воплотившего идеи преподобного Сергия, –

гармоническая цельность. Но вот XV век клонится к закату. На рубеже XV и XVI веков – Дионисий. Теплеют краски, «близится великий век к концу, день уже вечереет, длиннеют тени чудесных видений в воплощении гениального Дионисия, и как прекрасен этот тихий закат».

XVI век – промежуточный, с середины его все больше иконописец стремится золотом, узорами украсить икону, и все больше чудесное ускользает от его взора. Чем больше он старается сделать изображение натуралистическим, тем меньше в нем правды. И, наконец, в XVII веке наступает полный разрыв между стилем и содержанием иконы. Иконопись лишается творческого начала. Век XVIII – уже не икона – картина. Пропать между стилем и содержанием. Икона выражает стиль XVIII века, его вкус.

Олсуфьев считал, что «...надо подходить к иконе, как к чудесному, как стоящему вне нашей повседневной жизни. Только при таком отношении, – писал он, – вы сможете к ней приблизиться, только с таким благоговейным чувством вы сможете услышать ее вещей голос. Икона не картина, где с творчеством вливается долнее... В иконописи мы видим общее объединяющее духовное начало, единый образ красоты, то, что может быть названо святостью, и в том отличительная сторона ее в рядах искусства».

Обращает на себя внимание и то, что Олсуфьев увидел прямую связь между возникновением нового искусства и пониманием иконописи: «Импрессионизм, перенесший центр тяжести восприятия мира на почву эстетизма, дал многочисленные направления или метода выражения в искусстве, вплоть до современного кубизма. И, как ни странно покажется, но импрессионистическое возрождение искусства способствовало пониманию давно забытой русской иконы; только направление, основанное на творчестве и порвавшее с рационалистическим позитивизмом, нашло общий язык с творчеством русского иконописания, занявшего теперь одно из первых мест в области искусства прошлого».

Работа Олсуфьева по договорам в основном заключалась в составлении описей икон и произведений прикладного искусства из серебра, а также в подготовке к печати монастырских документов: Вкладной книги и Синодика 1575 года. Он также вел в 1925 году протоколы расчистки икон, которой занимался реставратор Н.А.Баранов и составил протоколы-сводки расчистки икон, проводившихся ранее – в 1918–1919 годах. В 1924 году Олсуфьеву был поручен отдел искусства XVI века. И тут же он с энтузиазмом занялся вопросами обустройства помещения для экспозиции: обратился в Комиссию с просьбой, чтобы архитектор составил проект переделок и смету. Увидел возле кузницы несколько щитов из толстого котельного железа и три железные двери и тут же предложил их приобрести для ставен и дверей своего отдела. Чувствуется, что подобная хозяйственная деятельность была неотъемлемой стороной его натуры.

А через несколько дней, 24 января 1925 г., Олсуфьева арестовали. Дело об аресте Олсуфьева в январе 1925 года обнаружила в архиве ФСБ И.Л. Кызласова и любезно передала автору выписки из него. Ордер был подписан Генрихом Ягодой. Как видно из материалов дела, арест был связан с намеченной ОГПУ ликвидацией «антисоветской группировки» в Сергиеве. Одновременно или немного позже в Сергиеве были арестованы еще несколько так называемых «бывших»: В.С. Трубецкой, В.А. Комаровский, А.И. и Е.С. Хвостовы.

В защиту Олсуфьева выступил архитектор А.В. Щусев, пославший в ОГПУ такое письмо: «Прилагая настоящую справку Главмузея, я удостоверяю, что Юрий Александрович Олсуфьев лично мне известен более 20 лет как гражданин, всецело преданный науке об искусстве, не занимая официальных государственных должностей, и особенно в последнее время он занимался ценными архивными исследованиями, чрезвычайно полезными для обоснования бытовых СТОРОН ОТРАСЛЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Сергиева Посада, а потому я всемерно ходатайствую о скорейшем рассмотрении его дела.

Москва. Февраля 14 дня 1925 г.

Академик архитектуры, автор Мавзолея В.И. Ленину [подпись]».

В справке Главмузея перечислялись должности Олсуфьева в Комиссии и его труды в ней. Но Щусев, очевидно, счел, что музейные заслуги арестованного в глазах работников ОГПУ мало, что значит, и выдвинул совершенно фантастическое обоснование в его защиту, полагая, что слова «рабочая промышленность» будут иметь вес.

В этом деле Олсуфьева всего два доноса 1924 г.: первый от 12 июля, написанный на основании свидетельств некоего Зайчикова, и второй информатора Костина от 14 ноября. В первом сообщалось, что в доме Зайчикова живет бывший фабрикант Вишняков, и у него собираются лица, как-то князь Голицын, князь Трубецкой, граф Олсуфьев, Шик и Истомин. «Был случай на Троицын день они вели таковое собеседование по вышеозначенному адресу за скромным чаем до позднего времени, вели довольно тихий интимный разговор, подслушать не представлялось возможным».

Во втором доносе его составитель мог только сообщить, что видел иногда Олсуфьева с П.А. Флоренским, идущих вместе и о чем-то изредка переговаривающихся. Он добавлял также, что к этим лицам «по характеру отношения к совласти» примыкает Михаил Владимирович Шик.

На допросе Олсуфьев показал, что никогда не состоял ни в каких организациях, действующих против советской власти, принципиально был против политической деятельности, был занят научными трудами. Среди знакомых в Сергиеве назвал только шесть человек: В.Д. Дервиза, М.Г. Захарова, И.Э. Грабаря, А.И. Анисимова, С.П. Мансурова и А.Н. Свирина, указав: «с этими я очень часто вижусь, есть и другие, более далекие. Вообще я веду очень уединенный образ жизни». Знакомство с Вишняковым и посещение дома Зайчикова Олсуфьев отрицал».

Олсуфьеву пришлось отвечать и на вопрос о местонахождении сына. Он показал, что его сын Михаил работает статистиком в экспедиции на Камчатке. (По сведениям Г.И. Вздорнова, Михаил Юрьевич еще в 1924 г. тайно – через Владивосток и Китай – эмигрировал из СССР).

В постановлении об избрании меры пресечения от 10 февраля 1925 г. записано, что Олсуфьев <...> из бывших дворян «имел связь с контрреволюционными, монархически настроенными элементами, проводил контрреволюционную деятельность в целях свержения существующей советской власти». Однако в заключении от 13 марта записано, что «изобличающих Олсуфьева данных в его антисоветской работе не добыто». И он, узник Бутырской тюрьмы, был освобожден.

По возвращении Олсуфьева на свободу за ним закрепили отдел «Эмали, скань, чернь, финифть, резьба по дереву, металлу, кости».

Руководство музея понимало необходимость введения Олсуфьева в штат и несколько раз ставило вопрос об этом перед Главмузеем. Возможно была надежда, что это избавит его от признания лицом, лишенным избирательных прав. В списке «лишенцев» января 1926 года в графе «Чем занимается в настоящее время», против фамилии Олсуфьева (в подлиннике – Алсуфьева) указано: «Не выяснено», «Причина лишения прав» – «Живет на нетрудовые доходы», а в графе «документы, на основании которых произошло лишение избирательных прав», стоит: «Граф». Это обстоятельство и было, конечно, причиной того, что Олсуфьева и его жену лишили избирательных прав. В 1926 г. Олсуфьева, наконец, руководству музея удалось, наконец, перевести с нештатной должности эксперта на штатную должность старшего помощника хранителя музея с окладом 64 руб. 80 коп.

Несмотря на все передраги, стоило дирекции музея зачислить Олсуфьева в штат, как он снова стал выступать чуть ли не на каждом заседании правления музея, в том числе по хозяйственным вопросам. И одновременно он в 1926 – начале 1928 г. занимался переустройством экспозиции древнерусской живописи и продолжал исследования в области иконописи.

За период 1920–1927 годов Олсуфьевым было опубликовано около двух десятков трудов. Надо сказать, что с самого начала Олсуфьев хорошо понимал необходимость издательской деятельности. Еще 9 ноября 1918 г., то есть через несколько дней после создания Комиссии, он сделал доклад о миниатюрах рукописных книг лаврской библиотеки, представил сделанный им каталог миниатюр и предлагал издать его в красках. А в 1926 г. он подал докладную записку в Правление музея о необходимости издания музейных описей с воспроизведениями предметов, разработав шестилетний план издания. Он предложил начать с книги о троицком резчике XV в. Амвросии. В следующем году и вышла в соавторстве с Флоренским книга «Амвросий, троицкий резчик XV века» (Сергиев, 1927).

А весной 1928 года в печати началась кампания против музея, причем в особую вину его руководству был поставлен выпуск этой книги. В газете «Рабочая Москва» 17 мая 1928 года появилась статья с подзаголовком «Поповские труды», подписанная М. Ам-ий. В ней было сказано: «Некоторые "ученые" мужи под маркой государственного научного учреждения выпускают религиозные книги для массового распространения. В большинстве случаев это просто сборники "святых" икон, разных распятий и прочей дряни с соответствующими тестами... Вот один из таких текстов. Его вы найдете на стр. 17 объемистого "научного" труда двух ученых сотрудников музея – П.А. Флоренского и Ю.А. Олсуфьева, выпущенного в 1927 г. в одном из государственных издательств под названием "Амвросий, Троицкий резчик XV века". Авторы этой книги, например, поясняют: "Из этих девяти темных изображений восемь действительно относятся к событиям жизни из жизни Иисуса Христа, а девятое - к усекновению главы Иоанна.

Надо быть действительно ловкими нахалами, чтобы под маркой "научной книги" на десятом году революции давать такую чепуху читателю Советской страны, где даже

каждый пионер знает, что легенда о существовании Христа не что иное, как поповское шарлатанство.

Питая читателей такой дрянью, засев в стенах этого богатейшего хранилища, мужи всячески препятствовали тому, чтобы запыленные документы о прошлом лавры стали общим достоянием трудящихся масс...»

В тот же день сергиевская газета «Плуг и молот» писала, что Олсуфьев на предложение написать опровержение, что он, Олсуфьев, ни в каких связях с господом-богом не состоит, ответил: «Мои личные убеждения мне этого не позволяют, а на них никто не имеет права посягать».

Но Олсуфьева, когда вышла в свет эта газета, в городе уже не было. Как вспоминает А.В. Комаровская, поздно вечером он увидел свет в окнах милиции и быстро уехал, избежав таким образом ареста. Дар предвидения... А арестовано в мае 1928 года в Сергиеве было более 80 человек.

Дом и большую часть обстановки пришлось Вероятно, даже если бы Олсуфьев не был арестован (что очень сомнительно), далее работать в Сергиевском музее он не мог, так как изменился сам характер музея. Музей стал по сути антирелигиозным, и на заседании Правления музея 24 декабря 1928 года было вынесено решение «издавать только брошюры и другие виды издания антирелигиозного характера с научной подосновой. Изучать архивы и памятники б[ывшей] Лавры применительно к новым задачам музея, а чисто научное изучение предоставить другим научным и искусствоведческим организациям».

Кроме того, как писала «Рабочая газета», заведующий музейным отделом Главнауки Вайнер сказал: «Старший хранитель музея, бывший граф Олсуфьев будет снят с работы и уволен 16 июня – в день своего возвращения из отпуска. К работе в Московском историческом или каком-нибудь другом музее он привлечен не будет».

Однако Ю.А. Олсуфьев не остался без работы. Его как специалиста в области древнерусской живописи пригласил в Центральные реставрационные мастерские Игорь Грабарь. Там Олсуфьев сразу был привлечен к комплектованию заграничной выставки русской иконописи, вместе с А.И. Анисимовым и Е.И. Силиным составил каталог этой выставки, имевшей огромный успех. Он занимался разнообразной текущей работой, а также много ездил для обследования и реконструкции произведений древнерусского искусства в музеях и церквях. После ареста в 1930 году научного руководителя ЦГРМ А.И. Анисимова Олсуфьев вел и его научную тему по монументальной живописи. Он изъездил всю центральную часть России, весь Север, Новгородскую и Псковскую области. В его дневниках и отчетах описана масса произведений искусства, отмечена их сохранность, наличие записей и пробных расчисток, дана классификация по их ценности и пр.

При этом условия, в которых проходили эти экспедиции, были очень трудными. Софья Владимировна сопровождала мужа в его поездках. Транспорт, ночлег, питание им никто не обеспечивал. Один из реставраторов, ездивший с ними, рассказывал, что жизнь Олсуфьевых «поражала своей скромностью и нетребовательностью в пище, ограничивавшейся часто вареной мелкой рыбешкой и картофелем, порою даже без растительного масла».

Олсуфьев спас от гибели сотни икон, сваленных после закрытия церквей в непригодных для их хранения помещениях, обследовал состояние фресок в храмах Новгорода, Пскова, Старой Ладogi, исследовал причины заболевания фресок, разрабатывал приемы их консервации и реставрации.

Характер работы Олсуфьева мало изменился, когда в 1934 году Центральные реставрационные мастерские были закрыты – он перешел в реставрационные мастерские Третьяковской галереи на должность заведующего секцией реставрации древнерусской живописи.

Жили Олсуфьевы в то время в подмосковных рабочих поселках, в деревнях, переезжая с места на место, снимая частное жилье. Юрию Александровичу приходилось добираться до места службы пешком и пригородными поездами, заниматься огородом, ремонтом печного отопления и т.п. Возможно, такая жизнь в пригородах, «за окнами, задернутыми занавесками», делала Олсуфьевых какое-то время малозаметными. Но 24 января 1938 года Ю.А. Олсуфьева арестовали. Обвинение было предъявлено по ст.58 п.2 ч.2 – «распространение антисоветских слухов». Постановлением троки при Управлении НКВД СССР по Московской области он был приговорен к расстрелу. Расстреляли его 14 марта 1938 года.

Софья Владимировна осталась жить в поселке Косино, где Олсуфьевы купили половину дома. Деньги они получили, продав два рисунка В.А. Серова, которые им подарил художник В.А. Комаровский. Она работала в Государственном музее изобразительных искусств – реставрировала древнеегипетские саркофаги – и в музее-усадьбе Кусково, где реставрировала фарфор. Ее арестовали 1 ноября 1941 года. Власти тогда опасались, что бывшие аристократы ждут прихода немцев. Ее осудили по той же статье, что и мужа, и дали 10 лет лагерей.

Она скончалась в лагере – бывшем Свяжском монастыре 15 марта 1943 года и была сброшена в общую могилу – ров возле монастырской стены.

Сейчас в стену монастыря художник Илларион Голицын вделал две доски из белого камня: одну – посвященную своему отцу Владимиру Михайловичу, скончавшемуся в том же лагере немного раньше Софьи Владимировны, другую – ей.

М.М. Веселовская написала: «В службе всем святым в земле Российской просиявшим после обращения ко всем русским святым, прославившимся в историческом течении веков и прославивших разные части и области земли русской, после дивного перечня великих подвижников, которыми создается и прославляется Церковь русская, в самом конце службы, в 9-й песне канона есть обращение ко всем святым знаемым и незнаемым, явленным и неявленным. Сколько было таких святых в течение всей русской истории, подвизавшихся в неизвестности, сколько подвижников, исповедников и мучеников за последние тяжелые годы гонений на Церковь. Невольно вспоминаются эти последние слова, когда я думаю о Софье Владимировне Олсуфьевой».

Мансуровы

«Первая зима (1917 – 1918 года) у себя дома. С. Мансурову 27 лет. Последние месяцы старой Лавры. Вечерни, а иногда и утрени в Троицком соборе. Старые лаврские напевы, их глубина. Красота собора. В заснеженных лесах – скиты. Торжественная тишина. Лесные поляны. Улицы Посада, белизна снегов, молчание... Большой колокол Лавры и звон в скитах... Дом отца П. Флоренского в скромном переулке в ряду других посадских домов. Образ Флоренского, проходящего среди сугробов. Первые встречи. Подобием монастырской гостиницы, как осуществляемый идеал, была квартира на Вальной улице», – так описывала Мария Федоровна Мансурова свои впечатления от Сергиева Посада, куда они с мужем приехали летом 1917 года и поселились в доме Олсуфьева на Вальной улице. Олсуфьевы отдали им весь первый этаж. Их семьи были хорошо знакомы. Во время Первой мировой войны Сергей Павлович Мансуров, освобожденный от военной службы по состоянию здоровья, работал в санитарном отряде Земского Союза на Кавказском фронте – заведовал хозяйственной частью, снабжавшей лазареты передовых позиций. А возглавлял Кавказское отделение Союза Ю.А. Олсуфьев. К тому же, С.В. Олсуфьева и М.Ф. Мансурова были двоюродные сестрами (обе – внучки князя Николая Петровича Трубецкого).

С.П. Мансуров (1890–1929), происходивший из старинного дворянского рода, был сыном дипломата, секретаря Русского посольства в Константинополе, и в юности провел там 12 лет. Может быть, земля древней Византии повлияла на его увлечения в дальнейшей жизни: он рано начал интересоваться вопросами христианства, житиями святых. Видимо, имело значение и то, что 12 лет он жил исключительно среди взрослых: это был свободный, мыслящий ребенок.

В Москве, куда семья вернулась в 1903 году, он экстерном сдал курс классической гимназии. Здесь у него появился друг – Дмитрий Федорович Самарин из известной семьи славянофилов. Вместе они поступили на философское отделение историко-филологического факультета Московского университета. Окончив его, Мансуров около полутора лет жил очень уединенно. Это было время сосредоточенности и самоопределения. Он все больше входил в стихию христианского подвига.

В то время два события произвели большое впечатление на Мансурова: поездка в Зосимову пустынь (мужской монастырь в 20 верстах Троице-Сергиевой Лавры), где он исповедовался у старца Алексия, и чтение книги о Павла Флоренского «Столп и утверждение Истины». У него появились мысли об отречении от мира.

Но он был влюблен в сестру своего друга – Марию Федоровну Самарину (1893–1976). Он стремился приобщить ее к своему образу мыслей, а в 1914 году они обвенчались. Мария Федоровна разделяла взгляды мужа. Их духовником с 1916 года был оптинский старец Анатолий. И с тех пор до самой смерти старца в 1923 году Мансуровы ездили в Оптину, несмотря на все тяготы поездки. «Поезда ходили плохо, – вспоминала Мансурова, – трудно было пробиться у входа в вагон с не хотевшими нас пускать пассажирами, иногда подолгу сидели на какой-нибудь маленькой станции, от усталости ложились на пол и засыпали с плетушкой под головой. Плетушка и узелок – смена белья, жестяной чайник, кружка, кусок хлеба, может быть, огурец и вареный картофель...».

В Сергиевом Посаде Мансуров вернулся к прерванной из-за войны работе по истории Церкви. А осенью 1918 года его пригласили в Комиссию по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры. Он вел делопроизводство, кроме того, ему было поручен разбор библиотеки Лавры.

Т.В. Розанова, работавшая в Комиссии машинисткой, так отписывала первую встречу с Мансуровым в доме на Вальной улице: «На мой стук мне открыла высокая, очень красивая, белокурая, стройная женщина и весьма приветливо позвала меня зайти внутрь. Это была жена Сергея Павловича Мансурова...

Желая меня ободрить и как-то успокоить, она ласково предложила мне тарелку грибного супа. Я была этим очень тронута. Оглянулась на комнату... Это была довольно большая комната с двумя окнами, заставленная высокими полками с маленькими книжечками в бумажных переплетах. Это были разные издания о старцах на Руси. Эти книги были большая редкость, они собирались, видимо, с большой любовью в течение долгих лет... Я увидела красивого, молодого, высокого человека с удивительно лучистыми, добрыми карими глазами и мягкой улыбкой...

Началось учение. Он терпеливо объяснял мне, как вести журналы входящих и исходящих бумаг. Я была не из понятливых учениц, и мое сердце было тронуте его добротой и снисходительностью чрезвычайно... Он всегда старался всем помочь, как-то всех обласкать».

С.П. Мансуров появился в канцелярии, по словам Т.В. Розановой, «большой частью с котомкой за плечами. Это он приходит он поздней обедни из Троицкого собора... Я знаю, – писала она, – что после занятий Сергей Павлович отправится стоять в очереди за хлебом или за картофелем, для чего у него и покоится за спиной походная сумка».

Жили Мансуровы трудно. Мария Федоровна вспоминала: «Постепенно я многому научилась в хозяйстве. Топила печи, пекла черный хлеб на закваске, просеивала овсяную крупу для лепешек, варила суп из высевок и рагу из овощей. Ставила горячими углями красивый медный самоварчик... Вместо чая заваривала душистый лист или смородины, или яблони, а вечером на конфорку этого холодного самовара вставляла стеклянный зеленый стаканчик лампы, и это было очень красиво. Стирать и мыть пол я научилась много позднее. Эта зима 1920/21 года была для нас духовно богата».

Многим друзьям и родным Мансуров в те тяжелые времена служил опорой, принимал участие в их судьбах. Вместе с женой он навещал тяжело заболевшую вдову В.В. Розанова. «Во время пребывания в больнице мама просила позвать его, и он часто приходил к ней, – вспоминала Т.В. Розанова. – Во время дождей там была грязь непролазная; больница находилась на окраине города (бывшая земская. – Т.С.), но мама звала его, прося поддержать ее падающий дух; и он шел и утешал ее... Сергей Павлович присутствовал при последних ее минутах. Помню, как снял с руки свое любимое синенькое колечко, на котором были вырезаны слова молитвы преп[одобного] Серафима, надел маме на руку. Помню, как она обрадовалась и вся просияла».

В Москве тяжело заболела и оказалась совершенно беспомощной бывшая гувернантка-француженка Марии Федоровны. У нее болела нога, передвигаться она могла только на костылях и просто замерзала в своей квартире. Родных у нее не было, и

Мансуровы взяли ее к себе. Сергей Павлович читал ей духовные книги, переводя на французский язык.

Ласково и внимательно относился он к своей больной матери, всячески заботился о ней.

Когда семья Комаровских в 1923 году была выселена из своей усадьбы, Мансуровы отдали им часть своих комнат в доме Олсуфьевых. Варвара Федоровна Комаровская и Мария Федоровна Мансурова были сестрами. И даже в такой ситуации приютить у себя семью с тремя детьми, причем один ребенок был грудным, – это поступок незаурядный.

Здоровье Мансурова было подорвано: осенью 1918 года он ездил в теплушке за хлебом и вернулся тяжело больной гриппом – «испанкой». Доктор предупредил, что может начаться туберкулез легких. Положение ухудшилось, когда в январе 1920 года Мансурова арестовали. Тогда разыскивали его отца – Павла Борисовича (1860–1932), видного церковного и общественного деятеля, который скрывался от властей. Сергей Павлович отказался выдать место, где находился его отец. Десять дней его продержали в очень плохих условиях в местной тюрьме, потом переправили в Москву, на Лубянку, затем – в Бутырскую тюрьму. Там он заболел сыпным тифом, перенес кризис без медицинской помощи, лежа на полу. Потом его положили в больницу, но вскоре он снова был переведен в общую камеру.

Благодаря хлопотам жены через четыре месяца Сергея Павловича отпустили. После перенесенного работа в сельхозартели, созданной Ю.А. Олсуфьевым, была для него непосильной. Но он все-таки нес караульную службу, когда начала поспевать картошка, и по мере сил вместе с женой участвовал в ее уборке. Н.Д. Шик-Шаховская вспоминала: «Как сейчас вижу я их перед собой: оба высокие, спокойные, медлительными, плавными неторопливыми движениями склонялись и выпрямлялись над распаханной грядой, с какой-то особой, немного неуклюжей грацией, выбирая картошку, точно танцуя старинный менуэт. Мы были все оборванные, руки были в земле, но здороваясь и прощаясь, С[ергей] П[авлович] с той же неуклюжей грацией неизменно целовал руку мне и Софье Владимировне, чем иногда приводил меня в большое смущение...

Я была одержима рабочим азартом – мне все хотелось побольше сделать. Мы иногда ворчали на Мансуровых за их медлительность. С[ергей] П[авлович], надеюсь, этого не замечал: невозмутимо серьезно делал он свое дело, мало участвуя в хозяйственных совещаниях и волнениях. И окончив работу, спокойно шествовал домой с лопатой на плече, в старой выцветшей заграничной шляпе, в накинутом на плечи дорогом, но потертом пальто и в худых сапогах.

Во время жатвы нам помогала прачка Ефимья – высокая, худая женщина, сильная и умная.

– А что, Н[аталья] Д[митриевна], – сказала она мне раз, когда мы с ней шли с поля домой, – я так думаю, что С[ергей] П[авлович] святой будет!

– Почему вы так думаете, Ефимья? – удивилась я.

Но она ничего не сумела мне ответить».

Главное в жизни Мансурова было ее духовное начало. Он все больше углублялся в богословие, в поэзию церковных богослужений. Каждый день Сергей Павлович ходил к ранней обедне. И если почему-либо день не начинался с обедни, он был для Мансурова не таким светлым, как всегда. По праздникам Мансуровы вечером и утром ходили в Черниговский или Гефсиманский скит.

Н.Д. Шик-Шаховская вспоминала: «Это было трудное, голодное время. Мы все ходили оборванные и постоянно с поклажей. С[ергей] П[авлович] часто приходил в Троицкий собор с большим саквояжем – с вокзала или с обедом из столовой, завязанным в салфетку.

Медлительно и спокойно он проходил через храм со своей ношей, часто в разорванной обуви, к подножию иконы, перед которой склонялся ниц. Мне чуялась большая свобода духа в этом спокойствии. Мне думалось, что он потому невозмутимо ставил свой обед посреди храма, что все житейские помыслы он оставлял за его порогом.

Меня покорило благоговейное внимание, с которым он слушал церковную службу. И когда в некоторые моменты Литургии он склонялся до земли и долго оставался в этом положении, как бы совсем уничтожаясь, как бы весь растворяясь в переживании происходящего таинства, я следила за ним с каким-то трепетом, сердцем впервые постигая великую тайну христианской мистики – жертвенную отдачу человеком себя Богу – смерть личности, – и восстание ее уже преображенной, воспринявшей в себе нечто от Божественной сущности».

А в Комиссии по охране памятников Лавры Мансуров разбирал в библиотеке, находившейся на чердаке Трапезной, рукописные книги. В результате появилась его статья «О библиотеке» для сборника «Троице-Сергиева Лавра». В этой работе он сделал обзор книг, проанализировав, какие из них читали в монастыре в то или иное время. Некоторые сведения по этому вопросу он нашел в документах. Кроме того, судил по тому, сколько экземпляров книги было переписано в каждый период: если книгу переписывали часто, значит, у нее было много читателей.

Замечателен литературный стиль автора. Вот начало этой статьи: «Здесь, в мертвых по виду рукописях, запечатлены мысли и чувства, которыми дышала Древняя Русь. Здесь перед внимательным взором, в этих громоздких и вместе с тем прекрасных документах приоткрывается, чему училось, к чему стремилось, чему верило, чего настойчиво искало не одно, не два, а десятки поколений исторических деятелей прошлого... Сейчас нам, привыкшим к морю книг, даже трудно отдать себе отчет, как велико было значение каждой отдельной книги, каждой данной рукописи в спокойной, сосредоточенной атмосфере древнерусской культуры... К своей книге Древняя Русь относилась, как к святыне. Чтение было делом, близким по значению к молитве. Вместе с тем, между жизнью и книгой была глубокая связь. Древнерусский читатель в своих книгах находил высокие идеалы и руководящие указания к их осуществлению».

Мансуров выяснил, что в XIV–XV веках в Троице-Сергиевом монастыре много читали Григория Богослова. «Как мог в далеком глухом лесу только еще возникающей Московии читаться наиболее углубленный мыслитель и самый выдающийся поэт греко-христианской культуры?» – восклицал Мансуров. Григория Богослова читали тогда каждый день в церкви и за трапезой. Мансуров сопоставил этот факт с тем, что именно в

XV веке был построен в монастыре каменный Троицкий собор и Андрей Рублев написал «Троицу». И сделал вывод о высочайшем уровне духовной культуры русских людей того времени.

Другим читаемым в ту пору автором был Исаак Сирийский. Этот «философ не знает равного по тонкости, глубине, но также по трудности усвоения, – заметил Мансуров. – Приходится только изумляться, что он находил себе читателя на далеком Севере».

В библиотеке монастыря в XV веке было собрано все богатство мировой литературы того времени. Тут и Иоанн Лествичник, «чьи писания – это какая-то «математика души», и Авва Дорофей – тонкий лирик, за внешней безыскусственностью которого – большая ученость. Вот цитата из беседы Аввы Дорофея: «От усердия к чтению я не замечал в молодости, что я ел, что пил или как спал. И во время сна книга была на столе моем, и уснув немного, я тотчас вставал, для того чтобы продолжать чтение».

«Эти книги, – писал Мансуров, – указывают путь от пошлого, паразитического состояния души к источникам высокого творчества, к красоте духа и царству любви».

Но уже к концу XV века суживается круг чтения. Рукописи искусно изукрашиваются, но читатели не интересуются ни Григорием Богословом, ни Исааком Сирийским. Григория Богослова, которого прежде читали каждый день, читают уже только раз в год, на Пасху. Вниманием пользуется Иоанн Златоуст. Это могучая проповедь. Но против чего она направлена? Против пьянства, азартных игр, разврата, безудержного стремления к наживе. Достаточно сказать, что в конце XV века монахи просто убить хотели настоятеля, когда он пытался наставить их на путь Божий, на пост и молитву. Тут уж было не до Григория Богослова.

Некоторый духовный подъем произошел в начале XVII века. Связан он был, видимо, с освободительным движением в Смутное время. Троице-Сергиев монастырь стал тогда одним из его центров. В то время монахи переписывали десятки рукописей. Настоятель монастыря преподобный Дионисий много сил отдал тому, чтобы книга заняла подобающее ей место в жизни русских людей. Он отправлял книги в Москву, заставлял читать монахов, на что, впрочем, те иногда отвечали бранью.

В середине XVII века, с появлением печатных книг, которых Мансуров не касался в своей работе, значение рукописных книг падает.

30 ноября 1919 года Мансуров по его просьбе освободили от должности заведующего канцелярией, что дало ему возможность сосредоточиться на работе с библиотекой. В 1921 году, когда библиотека Лавры стала филиалом Всероссийской государственной библиотеки им. Ленина, Мансурову поручено заведовать им.

В записках Марии Федоровны есть упоминание о том, что в библиотеке Мансуров «работал совместно с большим знатоком своего дела о. Ал[ексием] Серафимовичем». Об иеромонахе Алексее стоит сказать немного подробнее. Ю.В. Готье, которому было поручена передача библиотеки Лавры в Румянцевскую библиотеку (будущую Ленинскую), записал в дневнике 2/15 сентября 1919 года: «Посещение Лаврской библиотеки, помещающейся над трапезной; там же находится и старый архив, в котором великое богатство неиспользованного материала по монастырскому хозяйству и землевладению XVI–XVII веков; весь архив в полном порядке, благодаря труду никому не известного

монаха-библиотекаря отца Алексея. Вот бы где заняться, если бы только явилась возможность дать волю моим проектам об исследовании XVI века».

В апреле 1926 года – Мансуровых уже не было в Посаде – Сергиевский историко-художественный музей обследовала комиссия Главнауки. В ее состав входил заместитель директора Ленинской библиотеки. Вероятно, это было причиной того, что, помимо музея, были проверены и библиотеки Лавры и Московской духовной академии, являвшиеся ее филиалами. Комиссия записала в протоколе, что бывшая лаврская библиотека находится в верхнем этаже Трапезной церкви. Книги используются для научных работ. Они в идеальном порядке и чистоте. Ни на одной книге ни пылинки, несмотря на то, что под крышей Трапезной постоянно живут галки. О. Алексей сделал решетки из проволоки, чтобы галки не залетали в библиотеку. Им было также сделано немало разных специальных приспособлений: книжных переплетов, картонных папок и пр. При проверке оказалось, что он еще год назад был уволен с работы бывшим директором Ленинской библиотеки, но, несмотря на увольнение, продолжал трудиться «с той же добросовестностью, преданностью и тонким пониманием дела». Комиссия записала, что ошибка, допущенная в отношении Серафиновича, должна быть исправлена.

О. Алексей умер 27 марта 1928 года, как раз когда начался разгром музея.

Вначале 1920-х годов, Мансуров читал курс лекций по работе с книгой в Институте народного образования, открытом в Сергиеве. Его жена давала уроки рисования в школе, «то и другое за гроши, за кувшин супа и ложку каши». При этом последние шесть лет жизни С.П. Мансурова, по словам его жены, были «временем большого духовного возрастания».

Зимой 1922 года Мансуров сильно простудился, у него открылся туберкулез легких. А в 1924 году он был снова арестован. Хотя арест был непродолжительным, стало ясно, что надо уезжать из Сергиева – жить здесь становилось слишком опасно. Как раз в апреле 1925 года арестовали двоюродного брата Мансурова, В.А. Комаровского. Весной 1925 года Мансуровы уехали. Сначала переезжали с места на место, а 18 ноября 1926 года Мансуров принял сан священника и получил место в Дубровском женском монастыре, в 12 километрах от города Вереи Московской области. В 1928 году, когда монастырь закрыли, Мансуровы переехали в Верею. У Сергея Павловича обострился туберкулез, и 2 марта 1929 года его не стало.

Мария Федоровна писала о последних его часах: «Он был благообразен и светел, рад, что дождался. Приобщился, запил, дали в руки крест деревянный, и он слабеющим языком произнес: "Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром..."», все до конца. Опять, как после соборования, в этих заключительных словах послышалась мне во всей интонации его нежная любовь к Св[ятой] Церкви».

Книга, над которой он работал до конца своих дней – «Очерки по истории Церкви», – была издана в 1994 году.

«Деятельную любовь необходимо проявлять около себя в повседневной жизни, с людьми, с которыми соприкасаешься, а не ждать какого-либо особого отдаленного случая проявить эту любовь, – говорил Мансуров. – Надо представлять себе душу человека в виде круга, в котором может быть 0,9 светлых точек и лишь 0,1 темных, и в поле зрения

попала именно эта – 0,1. А по ней мы судим и о всем круге, забыв, что в нем, может быть, живет исключительно светлая душа».

Именно так жил, так относился к людям Сергей Павлович Мансуров.

Об отношении Марии Федоровны к мужу лучше всего говорит сделанная ей запись о том, что они чувствовали после того, как ей удалось выхлопотать Сергею Павловичу освобождение, когда он вернулся из заключения в 1920 году: «После разлуки моей с Сергеем Павловичем он был мне возвращен, как еще более драгоценный дар. Я поняла и ощутила, что присутствие его дома и со мной очень хрупко, ненадежно, только как чудо, на время вымоленное, поняла, что его надо беречь, охранять и защищать, а не только опираться на него, поняла, что его можно опять потерять».

Ей суждено было прожить долгую жизнь без него.

Первое время она жила в Верее, в доме, где все оставалось так, как было при жизни Сергея Павловича. Потом она снимала там же, в Верее, комнаты, тесные и убогие. Ездил в Москву в поисках работы – чертежи, технические рисунки для издательств. В один из приездов в Москву ее арестовали. На допросе она сказала: «...мои политические взгляды вытекают из моих религиозных убеждений, противоположных установкам советской власти и коммунистической партии... идеалом считала бы христианский строй, основанный на христианских началах». Ее сослали в Среднюю Азию, три года (1933–1936) она провела в маленьком городке Бек-Буди, окруженном пустыней.

Вернувшись из ссылки, она снова поселилась в Верее – все эти три года Ю.А. Олсуфьев вносил плату за ее комнату.

Во время войны немцы оккупировали Верею. Мария Федоровна хорошо говорила по-немецки. Немцы предлагали ей уйти с ними на Запад, но она отказалась. Жила она в то время на даче, которую взялась сторожить. Уходя, немцы хотели сжечь город. Дача, где жила Мансурова, уцелела, но все вещи были выброшены из дома на снег. У ее племянницы, А.В. Комаровской, сохранились порванные, испорченные снегом фотографии, которые Мансурова собирала по сугробам.

Во время войны ей пришлось испытать и мучительный голод, и холод. Таскать дрова из леса было ей не по силам, но она была вынуждена делать это. Здоровье ее было подорвано, начался туберкулез позвоночника.

Зарабатывала немного черчением и рисованием, но долго заниматься не могла из-за плохого здоровья.

В 1950 году переехала ближе к Москве, но власти вскоре потребовали, чтобы она выехала с территории Московской области. Она уехала в Боровск, Калужской области. Там и прошли ее последние годы. Все хуже видели глаза, так что днем приходилось задергивать окна в избе, где она жила, темно-синими занавесками. В доме ютились бездомные собаки и кошки, которых она жалела. К ней тянулись и люди, находя у нее утешение и поддержку.

Мария Федоровна задумала написать биографию мужа, много работала над ней. Но из-за крайней требовательности к работе, так и не закончила этот труд. Много молилась, каждый день читала Евангелие и, когда уже не могла ходить в церковь сама, очень радовалась приходу кого-нибудь к ней прямо из храма, со службы.

В конце жизни ей часто хотелось уединения, но она не могла обойтись без посторонней помощи. Соседи приносили воду и дрова. Знакомые привозили из Москвы еду. Зимой в доме порой бывало так холодно, что замерзала вода.

Осенью 1976 года хорошая знакомая Марии Федоровны уговорила ее перезимовать у себя в Москве. В Москве она и умерла, тихо, во сне. Похоронили ее в Верее, рядом с мужем: у них большая общая могила, на которой стоят два креста.

Комаровские

«Сердце Посада – Лавра. Закрытая в первые годы революции, она оставалась основным стержнем и смыслом существования городка... Безмолвные соборы и церкви, тихие аллеи, корпуса Академии, башни и монастырские стены, отразившие польское нашествие, замкнулись теперь и жили своей внутренней жизнью, храня святость и вековое величие...

Продолжали только движение огромные часы на колокольне. Каждые четверть часа они оповещали город о том, что время еще не кончилось, и жители сверяли свои ходики и будильники с боем лаврских часов. Лавра была пустынной. Говор богомольцев и шумные толпы экскурсий не нарушали в те годы ее тишины. Пустынными и еще незаселенными оставались кельи монахов и жилые корпуса Академии. Лишь пять или шесть сторожей-монахов бесшумно бродили вокруг соборов, следя за целостью замков и содержанием всей территории Лавры в чистоте и порядке. Не желая мозолить глаза начальству, они были одеты в полуштатское одеяние: зимой в валенки, полушубки и малахаи неопределенной формы; а летом в сапоги, брезентовые плащи и картузы, под которыми они старались спрятать пучки длинных волос. Все они были очень приветливы и расплывались в доброй улыбке, если кто-то подходил к ним под благословение».

Такой увидел Лавру девятилетний Алексей Комаровский, приехавший с родными в Сергиев Посад осенью 1923 года.

Поселились Комаровские в олсуфьевском доме на Вальной улице - Мансуровы, жившие на первом этаже, потеснились и отдали Комаровским часть помещения, а Олсуфьевы предоставили Владимиру Алексеевичу Комаровскому (1883–1937) самую светлую комнату на втором этаже под мастерскую – Комаровский был художником. Все три семьи были родственны: С.П. Мансуров и граф В.А. Комаровский – двоюродные братья, женатые на родных сестрах Самариных – Марии Федоровне и Варваре Федоровне, а Софья Владимировна Олсуфьева приходилась Самариным двоюродной сестрой.

Олсуфьев и Комаровский дружили со студенческих лет. Оба они учились в Петербургском университете на юридическом факультете, вместе путешествовали по Италии, изучая памятники архитектуры и искусства. Правда, Комаровский ушел с третьего курса, желая посвятить себя всецело живописи, которая составляла «единственный интерес» его жизни, и поступил в Академию художеств, потом учился живописи в Париже.

Они снова сблизились, когда Олсуфьев занялся строительством храма - памятника Преподобному Сергию Радонежскому на Куликовом поле. Иконы для храма он заказал Комаровскому, который с 1911 года начал работать как иконописец. Летом 1910 года Владимир Алексеевич стал свидетелем открытия в Петербурге древнерусской иконы – в то время несколько записанных древних икон были расчищены и выставлены в музее. Это событие произвело на него огромное впечатление и повлияло на всю последующую жизнь.

Первый заказ он получил на создание вместе с художником Д.С. Стеллецким иконостаса для церкви в имени графа А.О. Медема под Хвалынском. Эта работа была для него ученической. К тому же художник находился под влиянием Стеллецкого,

которого Павел Флоренский назвал стилизатором. После копирования икон в Русском музее, для чего он ездил в Петербург, он и сам понял, что первая его работа была неудачна.

Иконы для храма на Куликовом поле Комаровский закончил к лету 1914 года. Получив их, Олсуфьев дал телеграмму: «Сегодня открыли иконы, поражены красотой...». Это было не повторение древних образцов и не стилизация, а самобытное религиозное искусство.

Началась Первая мировая война, и Комаровский в 1915 году оказался на Кавказском фронте, где работал вместе с Олсуфьевым и Мансуровым во Всероссийском Земском Союзе по организации походных санитарных отрядов.

После революции семья Комаровских поселилась в подмосковной самаринской усадьбе Измалково (близ нынешней станции Переделкино Киевской железной дороги). По их приглашению там же поселилась семья Осоргиных – Елизавета Николаевна Осоргина, урожденная княжна Трубецкая, была теткой Варвары Федоровны Комаровской. Ее дочь, Мария Михайловна, сделала много графических портретов обитателей усадьбы. В усадьбе жила также подружившаяся с Комаровскими на Кавказе семья Истоминых. Бывали в гостях Мансуровы, Самарины, Трубецкие и многие другие люди, связанные родственными и дружескими узами с хозяевами. Зимой 1920/21 г.г. в усадьбе скрывался от ареста Павел Борисович Мансуров.

Измалково Самарины купили в 1829 году – так понравилась им эта местность. М.Ф Мансурова вспоминала: «Измалково было лесное имение в 20 верстах от Москвы... Дом в 30-м году был нов и свеж. Деревянный, двухэтажный, с двумя террасами, он был просторен и удобен для большой семьи Самариных. Построен был дом «покоем» – выступы были обращены на юг. Северная терраса, устланная каменными плитами, своими шестью колоннами подпирала верхний открытый балкон. Песчаный спуск во всю ширину террасы переходил в луг, тянувшийся к северу, спускаясь до самого пруда. Справа и слева, стеной подступая к лугу, деревья парка, не доходя до пруда, слегка сближались с двумя группами лиственниц. Своими вершинами возвышаясь над уровнем парка, сближаясь, но не смыкаясь, лиственницы в торжественной задумчивости сторожили его внутренний мир, открывая взору пруд с деревней и за ним – темную полосу леса. Сосредоточенная в своем содержании южная сторона, предстоящая дому, не уводила вдаль. Передняя с парадной дверью на ступени подъезда находилась в западном выступе дома с южной его стороны.

После песчаной площадки во всю ширину дома – правильный круг, заросший травой, с пятью клумбами. Песчаным кольцом охватывали круг две дороги, за кругом против дома смыкаясь в короткую аллею въезда, выходившую на дорогу между двух каменных столбов. Дремучей стеной обступали круг с его кольцом деревья. У подножия – стволы тонули в дебрях подлеска – вверху соборно теснились вершины, взлетая одна другой выше. И здесь, выше всех вершин царственно возвышались в своих легких очертаниях вершины лиственниц.

Подобно храму был этот замкнутый в себе мир круга, так близко от дома предстоявший в торжественной тишине.

От восточной стороны круга начиналась липовая аллея, недлинная и очень утоптанная – она приводила к очень небольшой каменной церкви елизаветинского времени во имя Святого Дмитрия Ростовского. За церковью – большая липовая роща занимала все пространство до восточной границы парка. Липы этой рощи и липы аллей (их было шесть) подстригались при прежних помещиках...

На запад от дома был хозяйственный дворик, весь заросший травой, солнечный и веселый. Был там ветхий поэтический флигель с крылечком, служивший для зимних приездов хозяев. И за спиной флигеля проходила запущенная липовая аллея – парная к аллее, ведущей к церкви. Напротив – домик, где жил управляющий, в нем же помещалась наша кухня с огромной плитой. Дальше – вся кустами белой сирени – прачечная с помещением для прачки и повара. За прачечной – царство уток, заросший илом прудик с двумя плакучими ивами. Среди двора был колодец (с журавлем), деревянный сруб над погребом, курятник и будка для ночного сторожа. Скотный двор был совсем отдельно и далеко.

Все хозяйствование в Измалкове было просто, скромно, беспечно и примитивно. Мало занимая хозяев, оно шло непринужденно и без напряжения, в руках довольно свободных слуг.

Был в парке дуб, посаженный Федором Васильевичем (Самариным. – Т.С.). В наше время уже старый, обведенный железным кольцом и окруженный скамейкой. Он был серединой небольшого песчаного круга. Четыре дорожки соединяли эту площадку с ближайшей клеткой аллей. Обсаженное кустами спиреи, жимолости и шиповника, очень защищенное и радостное, это место, как комната, служило нам для летних занятий. Туда приходили мы в детстве с книгами, рукоделием, читали, вышивали, учили стихи...

Многоликим был задумчивый измалковский парк, неповторимый по своему содержанию. Были в нем и ласковые лужайки в шелковых переливах июньских трав с небесной лазурью незабудок...»

Такой была усадьба во времена детства и юности сестер Самариных – Марии Федоровны и Варвары Федоровны. А после революции жили обитатели усадьбы в основном огородом и продажей вещей. Владимир Алексеевич еще преподавал рисование крестьянским детям – школа помещалась во флигеле. Расписывал также для Кустарного музея в Москве шкатулки и подносы.

В сентябре 1921 года Комаровского арестовали. Он не стал скрывать своих взглядов, заявив на допросе, что он «сторонник монархического образа правления, не ограниченного какой-либо конституцией». Отвечал совершенно правдиво и, в частности, заявил: «На вопрос, могу ли я оказать подлинное фактическое содействие сродственной мне по убеждениям политической организации по борьбе с Советской властью, не могу дать определенного ответа, ибо все зависит от окружающих внешних условий».

В январе 1922 года его освободили. Возможно, имело значение то, что письмо в ВЧК в его защиту подписали крестьяне, чьих детей он учил в школе. Но дело, как стало понятно в дальнейшем, сохранилось, и при всех последующих арестах его обвиняли в монархизме. Усадьбу отдали под детский санаторий. Хозяев сначала переселили в одну

комнату, а осенью 1923 года выселили совсем. Тогда они и приехали в Сергиев Посад, в дом Олсуфьева с детьми Алексеем, Антониной и Софьей.

Старшему, Алексею, больше всего запомнилось, как ходили в скиты. Он писал, что после закрытия Лавры, основным духовным центром стал Гефсиманский скит. Раньше он был закрытым монастырем, в него не допускались женщины, "там жили монахи, которые стремились к уединению, тишине и внутренней сосредоточенности, которым было трудно в Лавре с ее многолюдством и торжественностью. В мое время скит был уже открытым монастырем, доступным для жителей Посада и приезжих богомольцев...

В скитскую церковь нужно было подняться по крутой скрипучей лестнице, размещенной в притворе. Оттуда вы попадали в полумрак просторной западной половины церкви. Из-за слабого освещения и большой площади она казалась несколько придавленной. Впереди (в восточной половине) больше света давала высота. В паникадилах мерцали разноцветные лампы. Ближе к алтарю стояли монахи, а уж за ними, не нарушая монастырского строя, миряне. Вдоль всей западной стены, на приступке, стояли согбенные, очень старые монахи, часть из них – схимники. Их черные мантии сливались с темным фоном стены. Мне, мальчику, они казались не живыми, а изображениями святых, рельефно выступающими из стены. Служба совершалась по строгому монастырскому чину, без суеты и шныряния служек туда-сюда, в молитвенной сосредоточенности всех предстоящих. Служил обычно один монах и один иеродиакон. На правом и на левом клиросах пели два прекрасно спетых монашеских хора с канонархом. В определенные моменты службы оба хора сходились в середине церкви и составляли единый величественный мужской хор. О красоте напевов и говорить нечего... Игумен монастыря, о. Израиль, был очень музыкален и ревностно следил, чтобы в хоре пели монахи с хорошим и слухом, и голосами...

Жизнь скита продолжалась сравнительно долго. Не помню, в котором году, вероятно в двадцать седьмом или двадцать восьмом, скит был закрыт. На его территории была организована колония для несовершеннолетних уголовников...

Неподалеку от Гефсиманского скита, в тех же темно-зеленых нестеровских лесах находились еще несколько уже закрытых монастырей. На север от скита - женская обитель Киновия с небольшой белой церковью, а в километре от нее – мужской монастырь Черниговской Божией матери. Высокая красного кирпича колокольня до сих пор цела, и ее силуэт возвышается над лесом. Колокольню хорошо видно с насыпи железной дороги. В монастыре была большая подземная церковь с иконой Черниговской Божией Матери. Помню, как еще до закрытия этого монастыря, ранней осенью двадцать второго года мы с отцом приезжали в Посад и ходили туда на вечернюю службу. Был праздник. Запомнился яркий желтоватый свет от сотен свечей, ярко освещавших храмовую икону и громадный свод подземелья со стройными рядами черных фигур. Шла торжественная всенощная со множеством духовенства и прекрасным монашеским хором.

Южнее скита, на более открытом месте, был еще один монастырь - Вифания... Там были красивые пруды и березовые аллеи».

А вот какими запомнились Лавра и город Антонине Владимировне Комаровской. Впервые она увидела Посад в шестилетнем возрасте. «Гляди туда, скоро увидишь Лавру», – сказала мама, указывая вперед. И правда, за полем, слева по ходу поезда показалась

едва заметная верхушка колокольни. Потом они пропали за горизонтом, снова выглянули – чуть больше, и, наконец, открылась уже совсем, вместе с куполами соборов и окружавших ее церквей, освещенных вечерним солнцем. Мы подъезжали к Посаду. В вагоне многие стали креститься. Показались разноцветные домики с палисадниками, тут и там виднелись церкви. И надо всем – уже близкая Лавра.

Вокзал был деревянный, выкрашенный в охру, с надписью "Сергиев Посад", тогда еще с твердыми знаками (1922 г. – Т.С.). За ним небольшая площадь со стоящими на ней рядами извозчиками со старыми пролетками...

Вероятно, на следующий день после приезда мы были в Лавре. Благодаря тому, что дядя Юрий Олсуфьев работал в музее, а сторожами были там знакомые монахи, нас провели в закрытый тогда Троицкий собор, показавшийся мне тогда очень большим, высоким и темным. Мы приложились к раке преподобного Сергия... Моей матери показывали икону "Троица" Рублева, рядом с ней стояла большая риза с этого образа. Вокруг соборов было множество могил с часовнями и памятниками над ними. Все еще оставалось таким, как было прежде. Лавра была пустынной, было ощущение торжественности, молчания, его не нарушали лишними разговорами. Мы долго пробыли внутри Святых ворот перед картинами из жизни преподобного Сергия. Их впоследствии заменили другими, а мне запомнились те, прежние, доходчивые, особенно для детей. Преподобный Сергий с медведем, Сергий молится над умершим мальчиком, видит видение – светлых птиц и другие. Я сама могла прочесть все надписи под этими картинами и запомнила все житие...». Такими были первые впечатления.

О 1923–1928 годах Комаровская вспоминала: «Перед Рождеством мы серьезно говели, я – впервые в жизни. С неделю по вечерам ходили в церковь, читали правило. К исповеди и причастию пошли в Гефсиманский скит. Исповедь шла в помещении под храмом. Ожидали в коридорчике на скамейке, над которой висела картина, изображающая путь души человека от рождения до смерти. Дошла моя очередь, я с трепетом вошла в комнатку, где, как мне показалось, в тумане, скромно стоял перед аналоем отец Порфирий. Был он со мной очень ласков, но в облике его была глубокая серьезность...

Наступило Рождество, Великий праздник, к нему все готовились и с радостью его ждали... Праздничная служба, дома – елка, украшенная не только склеенными нами цепями, домиками, корзиночками, золочеными орехами, яблоками, пастилой, но только появившимися в московских магазинах серебряным дождем, шарами, стеклянными бусами...

На масленице морозы смягчились и дороги потемнели. В конце недели в городе было праздничное катание по Вифанке и дальше по кругу, в два встречных ряда. Окрестные крестьяне приезжали в эти дни на гулянье в расписных или обитых коврами санях, с украшенной лентами и бумажными цветами сбруей. Сквозь эти двойные движущиеся ряды было трудно пробиться. Запомнились восхитившие меня одни санки, как бы серебряные, с изморозью, как в сказке "Снежная королева". Катающиеся, нарядно разодетые, с достоинством поглядывали на любующихся или прохожих. Все это было так,

как изображено на картинах Юона. В последующие годы эти гуляния, кажется, не повторялись (эти воспоминания относятся к 1925 году – Т.С.)».

Вскоре после приезда в Сергиев В.А. Комаровский поступил на службу в Комиссию по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры. Он делал копии с миниатюр, с памятников шитья XV века и пр., а также написал несколько видов лавры и интерьеров жилых покоев для архитектурного отдела Сергиевского музея. Участвовал в выставках Сергиевского общества художников «Клич», написал по заказам несколько икон, писал портреты. В 1924– начале 1925 года им были созданы «Автопортрет на красном фоне», «Семейный портрет с детьми», «Семейный портрет» (с Мансуровыми), портрет Ю.А. Олсуфьева и несколько портретов о. Павла Флоренского.

Флоренский очень высоко ценил творчество В.А. Комаровского. Он писал заведующему художественного отдела журнала «Маковец» Н.М. Чернышеву: «...считаю своим долгом обратить внимание "Маковца" на двух художников, шедших разными путями и пользующихся разными приемами. Вообще разных, но пришедших к единому истоку... Один из них Нина Яковлевна Ефимова... Другой художник – это Владимир Алексеевич Комаровский, он идет от французов и от русской иконы, но в противоположность стилизаторам (Стеллецкому и прочим), он живет не красками, а той реальностью, для передачи которой... (далее не разобрано в подлиннике). Это большой художник, с каждым месяцем делающий шаг вперед. Он ищет конкретного выражения в живописи самого сердца реальности и достиг успехов, которым трудно поверить, не видя его работ. Теперь моя мысль о необходимости пригласить этих двух в "Маковец" на выставку...».

Художники группы «Маковец» главным в творчестве считали духовность. Им был особенно близок жанр портрета. Они стремились к символической, драматически-философской трактовке образов. Это было близко о. Павлу, разграничивавшему реализм и натурализм. Он писал: «Хочется потрогать рукою, когда перед нами плоский холст, – этот триумф натурализма не есть ли обман, временно удавшийся и показывающий то, чего нет на самом деле. Да и зачем возбуждать в зрителе неудовлетворимое желание взять рукою написанное яблоко, когда он может успешно проделать это с настоящим».

К портретам о. Павла, созданным Комаровским, можно отнести слова Флоренского, сказанные им о ликах – изображениях святых: «Высокое духовное восхождение осиявает лицо святоносным ликом, изгоняя всю тьму, все невыраженное, недочеканное в лице, и тогда лицо делается художественным портретом самого себя».

В.В. Розанов говорил об о. Павле Флоренском: «...мне порой кажется, что он святой: до того необыкновенен его дух, до того самобытен». Вот эту святость облика и смог передать художник в портретах о. Павла. Совпадали взгляды Флоренского и Комаровского и на взаимоотношение живописи и иконописи. «Икона и иконопись во всем противоположны живописи как таковой... – писал Комаровский. – Живопись (в полном развитии своих законов) стремится к тому, чтобы дать душе и воображению зрителя возможно сильное движение к мечтательному исполнению мира сего до бесконечности. Каково действие иконы, как таковой, то есть некоего образа, выраженного

или, вернее, явившего себя в пластической форме? Действие ее таково же, как молитвы и, в высших выражениях, как таинства».

Флоренский же писал: «Всякая живопись имеет целью вывести зрителя за предел чувственно воспринимаемых красок и холста в некую реальность, икона имеет целью вывести сознание в мир духовный, показать "тайные и сверхъестественные зрелища"».

К сожалению, Комаровскому не пришлось долго общаться с о. Павлом, не пришлось задержаться в Сергиеве. Его арестовали в апреле 1925 года. Он по-прежнему отвечал на допросе, что является монархистом. Позднее он так пытался объяснить свою позицию: «...считаю себя во время всей моей сознательной жизни монархистом. Я в то же время никогда не принимал никакого участия в общественной политической жизни, не принадлежал ни к каким монархическим обществам и союзам... не служил на государственной и военной службе и лишь во время войны в 16-м и начале 17-го года служил в Земском Союзе помощи раненым. Вообще, будучи по призванию художником, никогда не интересовался общественной и политической жизнью... Я по-прежнему считаю, что монархия есть та форма государственного устройства, которая может соответствовать нравственному идеалу...».

Многие старались помочь Комаровскому. Коллективное письмо в его защиту подписали художники В.А. Фаворский, П.И. Нерадовский И.С. Остроухов, Д.Ф. Богословский, скульптор И.А. Андреев, архитектор А.В. Щусев. В ходатайстве говорилось, что Комаровский, «обладающий особенно редким у нас декоративным дарованием и знаниями в области декоративного искусства, мог бы с большим успехом быть использован на пользу Республики». Авторы обращали внимание властей также на то, что у художника трое малолетних детей, и что он болен язвой кишечника. Щусев послал и отдельное письмо. Вступился за художника Также музейный отдел Главнауки – письмо было подписано зам. заведующего Главнаукой и зав. музейным отделом Н.И. Троцкой.

Но все было напрасно. В деле записано, что Комаровский «б[ывший] дворянин, граф, по политическим убеждениям монархист (по его собственному заявлению), обвиняется в антисоветской деятельности и в принадлежности к монархической группировке бывшей аристократии».

Его на три года выслали на Урал, в город Ишим. Все это время он беспокоился за семью, оставшуюся в Сергиеве и не имевшую средств к существованию. Иногда ему удавалось найти работу: покрасить крышу или забор, сделать вывеску. Но органы госбезопасности бдительно следили, чтобы ссыльный не устроился на постоянное место. Так, в деле Комаровского хранится письмо из ОГПУ в отдел «Хлебопродукта», предписывающее отказать ему в принятии на службу под каким-либо предлогом. В дело подшиты и многочисленные донесения о разговорах, которые ссыльные вели между собой, протокол обыска и т.п.

Не оставляла тревога о семье, поддерживала только вера. В 1927 году он писал жене: «...у меня ужасно мало работы, и не предвидится, и это связано, значит, с полным бессилием и невозможностью тебе помочь, а чувствую каждую минуту, как должна быть велика твоя нужда и как трудно тебе. Я вот прихожу в уныние, когда нет денег и работы, а каково тебе с детьми! Милая моя, дорогая, вся надежда на Бога и добрых людей, которых

все-таки много... Я верю, что Господь и Божия Матерь, которые столько уже нам дали милости, и теперь не оставят нас».

Весной 1928 года срок ссылки Комаровского кончался, а в мае в Сергиеве прошли массовые аресты. Варвара Федоровна избежала опасности случайно: в ночь арестов она была в Москве. Утром, на пути с вокзала домой, она встречала знакомых, здоровалась с ними, не поняв, что они арестованы, и их ведут в тюрьму. Дома дети сказали, что за ней приходили. Варвара Федоровна сразу же уехала из города.

Поселились Комаровские в одной из деревень близ Измалкова. Владимир Алексеевич, вернувшись, брался за любую работу, чтобы прокормить семью: делал технические рисунки, чертежи. В 1929 году семья увеличилась – родился сын Федор (1929–?).

И тут Комаровский получил неожиданный заказ: расписать церковь Святой Софии Премудрости Божией на Софийской набережной в Москве. Заказ был удивительный: священник Александр Андреев затеял эту работу в то время, когда церкви по всей России закрывались. Художник неделями не выходил из храма, часто работал и по ночам. Но уже в следующем году церковь закрыли, и в ней разместился клуб «Союза безбожников». Отца Александра арестовали и выслали в Казахстан.

Весной 1930 года Комаровский только случайно избежал нового ареста: когда за ним приехали, успел выйти из дома и скрыться в лесу, где и провел ночь. В результате он простудился и заболел воспалением легких. Лежал он не дома, а у своих родственников Самариных в Москве, на Поварской. Однажды услышал разговор, доносившийся с улицы, и понял, что за ним следят. Тут же больной уехал в Верею к М.Ф. Мансуровой, где и провел несколько месяцев. Там он встретился со священником Сергеем Мечёвым. Итогом духовного общения с ним стало большое письмо, в котором художник изложил свои мысли об иконописи и возможности ее возрождения.

Осенью 1930 года Комаровский вернулся в Москву и вскоре был арестован. Месяц он провел на Лубянке и в Бутырской тюрьме, затем его отпустили.

В начале 1931 года семья переехала в поселок Жаворонки близ станции с тем же названием по Белорусской железной дороге. Комаровский выполнял случайные заказы, работал в издательствах, расписывал ресторанный зал Казанского вокзала и пр.

В начале 1934 года его снова арестовали. На этот раз за недоносительство на князя М.Ф. Оболенского, предполагавшего бежать за границу. Оболенского обвиняли в организации «Российской национальной партии по образцу германской фашистской партии со штурмовыми отрядами и специальными молодежными организациями на предприятиях и в учреждениях». Два месяца Комаровский находился в Лубянской тюрьме. Арестовали и его сына – девятнадцатилетнего Алексея, который получил впоследствии три года лагеря. А Владимира Алексеевича тогда отпустили.

Ему еще раз довелось выполнить работу для церкви: роспись алтарной части храма на городском кладбище в Рязани. Видимо, его пригласил тот же священник, о. Александр Андреев, который до ссылки был настоятелем Софийской церкви, а после ссылки попал в Рязань.

Двадцать седьмого августа 1937 года Комаровского арестовали в последний раз. К тому времени его жена уже давно тяжело болела: поражение спинного мозга лишило ее

движения. Владимир Алексеевич сам кормил ее с ложки, молился вместе с нею. Когда за ним пришли, Варвара Федоровна не могла даже подняться с постели, чтобы проводить. Последние его слова, обращенные к жене и детям, были: «Молитесь Божией Матери».

Проходил он по так называемому делу «Контрреволюционной нелегальной монархической организации церковников-последователей ИПЦ (Истинно Православной Церкви)». Получить признание у Комаровского не удалось. Он заявил, как записано в протоколе: «Я верующий православный человек, признающий старую церковь никоновского направления. С политикой Советской власти имею расхождения только в вопросах религии и Церкви. Я считаю истинной христианскую религию, т.е. то, что Советская власть не признает и с чем она активно борется».

Его расстреляли 5 ноября 1937 года на Бутовском полигоне. Семье сообщили: «10 лет без права переписки».

Имя Владимира Алексеевича Комаровского внесено в книгу «За Христа пострадавшие» (М., 1997, кн. I).

Сохранилось мало его работ. Погибли иконостасы, стенные росписи (сейчас раскрыто несколько фрагментов в Софийской церкви), утеряны его работы, сделанные для Сергиевского музея, пропали почти все картины, присланные из Ишима.

Сохранился портрет Ю.А. Олсуфьева, портреты П.А. Флоренского (в музее-квартире священника Павла Флоренского в Москве), несколько рисунков, акварелей и эскизов уцелело у дочери художника, Антонины Владимировны. Несколько эскизов церковных росписей она передала в Церковно-исторический музей Свято-Данилова монастыря. Туда же передана Донская икона Божией Матери, написанная для часовни под Измалковым. Когда часовню разобрали, в сельсовете эту большую икону, перевернув, использовали как доску для стола. Ее удалось найти в конце 1960-х годов.

Две работы В.А. Комаровского находятся в Государственном музее искусств Каракалпакии.

Он не смог сделать всего того, что хотел, к чему стремился, но его имя навсегда останется в истории искусств как зачинателя русской иконописи XX века.

Варвара Федоровна Комаровская с детьми после ареста мужа еще около года жила в Жаворонках, потом хозяева их выселили. Она поселилась с младшими детьми в Вере, но скоро слегла совсем. Голицыны, жившие в Дмитрове, помогли ей найти жилье в этом городе. Умерла она во время войны.

После смерти матери ее дочь Софья Владимировна ранней весной 1942 года пришла пешком из Дмитрова в Загорск, где в доме на Вальной жила дочь ее няни. В Загорске она окончила курсы медсестер и работала потом в детских учреждениях Загорска и Хотькова. Была замужем за графом Николаем Николаевичем Бобринским, родила сына Алексея.

Федор Владимирович Комаровский с весны 1942 года тоже жил в Загорске, учился в ФЗУ и окончил вечернюю школу. После службы в армии учился в Мытищинском машиностроительном техникуме, работал на Загорском оптико-механическом заводе. С 1959 года живет в Риге, откуда родом его жена.

У него две дочери – Варвара и Любовь. До выхода на пенсию работал инженером.

А старшие дети Комаровского связь с Загорском утратили. Алексей Владимирович отбыл три года в Мариинском и Кемчугском лагерях в Сибири (обвинение по ст. 58 п. 10), приобрел там специальность проектировщика-строителя. Голицыны помогли ему устроиться на строительство канала Москва–Волга в Дмитрове. Потом он работал на строительстве гидроузла в Куйбышеве. Всю войну служил в саперных восках. После войны работал главным специалистом по вентиляции и отоплению в институте городского строительства в Литве.

Антонина Владимировна окончила заочно Институт иностранных языков и в 1937 году поступила на работу в Литературный музей научным сотрудником, но в 1940 году была уволена. Окончила учительские курсы английского языка. В июне 1942 года, после отказа сотрудничать с органами НКВД, была выслана из Москвы в Кировскую область как член семьи репрессированного (без указания срока). Жила в городе Уржуме, работала в колхозе, потом – на самых разных работах. Закончила Воронежский пединститут, который был эвакуирован в Кировскую область, потом – курсы счетоводов. В ссылке она пробыла десять лет. Но и после освобождения не смогла вернуться в Москву – не давали прописки. Прописаться удалось в городе Боровске Калужской области, где тогда жила М.Ф. Мансурова. Но найти работы там ей не удалось, и Антонина Владимировна «добровольно» вернулась в Киров. Но и там ее не прописали. Жила в деревне, за год ей девять раз пришлось сменить работу.

Потом ее пригласила к себе в поселок Рыбное Рязанской области Ксения Петровна Трубецкая (урожденная Истомина) – туда был переведен из Москвы НИИ пчеловодства. Там Комаровская работала в институтской библиотеке. И только в 1965 году ей удалось вернуться в Москву и восстановить прописку (была прописана у графов Бобринских с 1938 года). Она работала в библиотеке Московского общества испытателей природы при Московском университете.

Антонина Владимировна много занималась обработкой архивов своих родных. Большая часть сведений, которые содержатся в этом очерке, получена от нее. К Комаровской часто обращались сотрудники Свято-Тихоновского Богословского института и других учреждений с просьбами помочь в составлении комментариев. Она поддерживала связи с многочисленными родственниками, живущими и в нашей стране, и за границей. Сохранила графические произведения своей родственницы Марии Михайловны Осоргиной, полученные по завещанию художницы из Франции, благодаря чему в Сергиево-Посадском музее-заповеднике прошла в 2002 году выставка «Образы минувшего». В дальнейшем выставка работ Осоргиной была осуществлена и в Музее-заповеднике А.С. Пушкина «Большие Вяземы». Скончалась в 2002 году.

Первые директора музея

Чрезвычайно приятен был Владимир Дмитриевич в совместной работе по организации музея...

Его природный ум, вкус и общая культура очень облегчали совместную трудную работу.

Мы понимали друг друга с полуслова.

А. Н. Свирин о В. Д. Державине

Однажды на рождественской елке художник В.А. Серов, будучи уже взрослым, выступал в качестве слона. Слон был шит из серой бумаги, а внутри находились два человека, приводившие его в движение. «Серов замечательно шаркал передними слоновыми ногами, плавно и ритмично, и обводил хоботом так, что страшно было даже тем, кто этого слона шил и конструировал из картона и обручей от бочки и знал, наверное, что он не живой». Это веселое представление происходило в усадьбе Домотканово Тверской губернии, принадлежавшей В.Д. Державину.

Владимир Дмитриевич Державин (1859–1937) родился в семье Дмитрия Григорьевича фон Державина, прокурора кассационного департамента Сената и члена Государственного Совета. Род Державиных происходил из Гамбурга. Один из потомков бургомистра этого города Иоанн Адольф Визе служил в Швеции, а затем был приглашен в Петербург, где стал юстиц-советником голштинской службы у Петра III. Был возведен в дворянское достоинство и получил в фамилии дворянскую приставку «фон-дер». Так образовалась фамилия Державин.

В отроческие годы он побывал с родителями и братом во Франции и Италии: его мать заболела чахоткой и зимой должна была жить на юге. Прекрасная природа тех мест, старинные постройки, сам воздух так запомнились ему, что более чем через полвека он вспоминал это путешествие во всех деталях: «Впечатления от Парижа, где мы прожили не менее двух недель, несмотря на плохую осеннюю погоду (был конец октября или начало ноября), было очень сильным. Красота города и грандиозность всех размеров меня поразили... Наконец, присущий Парижу зимой прозрачный голубоватый туман, легкая дымка; оголенные деревья с кое-где сохранившимися бурными листьями, здания, облицованные местным темновато-серым камнем, почерневшим от времени; тесанные из цельного камня орнаменты на постройках...

И все эти впечатления совсем бедны по сравнению с тем, что я ощущал на Юге... Уже после Лиона мы попали в долину Роны – сожженную солнцем, пустынную, покрытую белой известковой пылью под ярким солнцем и голубым темным небом, по которой извивается темно-синяя лента Роны. То и дело попадаются белые городки с красными крышами; и часто встречаются развалины то замков старинных, то церкви, иногда тоже в развалинах, необыкновенно живописных; растительность бедная, почти исключительно рощи оливок и фруктовые сады. Оливки с их сухой листвой, немного печальны, но очень характерны для этой части Франции.

Во время нашего путешествия, осенью, вид был, конечно, печальнее, чем весной или летом, когда другие деревья бывают в листве... В северной части Франции, где мы проезжали раньше, и где еще не опала в то время листва, я любовался лесами и особенно сильно чудными каналами, через которые и вдоль которых иногда шел наш путь: там сила растительности была очень велика. Каналы обсажены почти непрерывными рядами высочайших тополей, со спокойной водой, с дорожками по обоим берегам для конной тяги – производили впечатление необыкновенно спокойной и уверенной в себе силы, силы культуры, которая создает мирные и грандиозные эффекты в высшей степени важные и нужные для жизни всей страны».

Пожалуй, эти полудетские впечатления много говорят о характере Дервиза и о причинах выбора им жизненного пути. Нельзя не процитировать и его первые впечатления от моря, увиденного им в ту поездку: «Наутро я проснулся и был поражен ярким рассеянным светом, проникающим через закрытые ставни-жалюзи во всех окнах. Ставни открыли, и я буквально закрыл глаза от ослепительного света, ворвавшегося в окна, и прямо передо мной в расположении каких-нибудь 40–50 саженей стояла темно-синяя стена моря...

От дороги до воды расстояние не более 15 саженей – прибрежной крупной гальки и мелких камней, обточенных морем. Среди этого берега несколько скал, обточенных морем, торчащих из гальки; влево шоссе поднимается в гору и переходит дальше через скалистый мыс, обрывающийся в море отвесной скалой яркого красно-оранжевого цвета. Мы провели часа 2 или 3 на пляже, ничего не делая, только смотрели на море и выбирали камни, интересные по окраске или по форме...»

Видимо там, на Юге, на границе Франции и Италии, и возникла впервые у Дервиза тяга к живописи. Он вспоминал о прогулках в окрестностях снимаемой семьей виллы: «Местами еще сохранились громадные старые деревья оливки, а в одном месте гигантской толщины дерево, дающее черные сахарные стручки (цареградские), которыми здесь кормят ослов, а у нас это народное лакомство... У него очень красивая древесина малинового цвета. Прогулки по этим рощам и садам были очень приятны, и часто мы попадали в очень живописные уголки. Так, в одном месте в широкой прогалине-овраге, круто спускавшейся горы между оливковыми плантациями, из бока этой прогалины выступало несколько громадных скал, поставленных вертикально, очень живописных, отличавшихся окраской и материалом от окружающей почвы. Я эту скалу зарисовал с натуры карандашом, а потом повторил рисунок акварелью по памяти».

Именно там Дервиз стал «брать уроки рисования у местного жителя (родом из Монако), художника Florence, хорошего акварелиста-пейзажиста. Его система преподавания была такова: он приходил к нам и в течение одного часа рисовал и писал акварелью или сепией какой-нибудь пейзаж по памяти, и я должен был к следующему его уроку изготовить копию с его рисунка. При этом он заставлял для начала ограничиваться наименьшим числом красок. Так, первые акварели он писал двумя красками – жженой сепией и индиго. Получались условные, но очень эффектные вещи... К сожалению, я взял только несколько уроков у Флорансе и не успел ознакомиться с большим числом красок, и потому мои первые самостоятельные опыты писания с натуры были очень робки и черны». (Сохранился пейзаж, написанный Дервизом одной

коричневой краской, датированный уже 1887 годом). «Очень сильное впечатление во мне, – вспоминал Дервиз, – оставила ранняя весна в Ментопе, когда зацвели лимонные деревья и оливки и у одного ключа, бившего из скалы, в траве распустились пахучие дикие фиалки: я им радовался так же, как в раннем детстве зеленой травке между камней.

Много труда и стараний я потребил на один рисунок, изображающий маслобойню для выработки оливкового масла с горой сзади. Но на скале были редкие сосенки, и я не мог справиться с ними, так как не оставил для них чистой бумаги и промыть место было невозможно.

Цветущие деревья давали сильный аромат, стоявший надо всем берегом. Позднее зацвели анемоны (ярко-красные цветы). Но уже в апреле настала столь сильная жара, что врачи посоветовали увезти мать на более северную сторону, чтобы не сразу возвращаться в Россию».

В.Д. Дервизу предстояло, несмотря на все его увлечения живописью, (еще в юности он занимался акварелью под руководством известного в XIX в. художника Л.О. Премацци) поступить в Училище Правоведения. Так решил отец, сам окончивший это привилегированное учебное заведение в Петербурге. Только по окончании его Дервиз в 1880 г. поступил в Академию художеств. Там он сдружился со своим однокурсником В.А. Серовым. Дружеские отношения возникли и с М.А. Врубелем. Они поселились втроем, вместе рисовали на дому у П.П. Чистякова, а потом у И.Е. Репина. В одном из писем Врубель, сообщая сестре о совместных с Серовым и Дервизом работах акварелью, когда они вместе писали натурщицу, заметил: «...мы трое единственные, понимающие серьезно акварель в Академии».

Трое друзей и поселились вместе, и подрабатывали уроками рисования в частной школе тетки Серова – Аделаиды Семеновны Симонович. По субботам приходили к ней в гости. В доме А.С. Симонович было много дочерей, царило легкое непринужденное веселье. Скоро образовались три пары: Надежда Яковлевна Симонович и Дервиз, приемная дочь Симонович Ольга Федоровна Трубникова и Серов и Мария Яковлевна Симонович и Врубель. Две первых пары заключили браки.

И В.А. Серов, и В.Д. Дервиз, проучившись пять лет в Академии, вышли из нее, не став формально заканчивать курс. Мать В.А. Серова, Валентина Семеновна, жила в то время в селе Ефимове Тверской губернии – там находился сыроваренный завод Николая Васильевича Верещагина, брата известного художника. С ним она познакомилась в Швейцарии. Серов и Дервиз приехали в Ефимово. Там, в сельской церкви, Дервиз обвенчался с Надеждой Яковлевной. «Надо было избрать род работы, – вспоминал он, – которая сколько-нибудь обеспечивала бы жизнь; а так как жена моя стремилась к жизни в деревне, то я решил приобретать ценз и заняться работой в земстве...

Верещагин меня перезнакомил с земскими деятелями Тверской губернии, и я купил в Тверском уезде небольшое имение... и поселился в нем с женой и ее матерью». Смотрели имение перед покупкой компанией: с Дервизами была сестра жены Владимира Дмитриевича Мария, поселившаяся потом с ними, Серов и его невеста Трубникова. Первые впечатления Дервиза были такие: «Въехав и пределы имения Домотканово, мы, с

самого начала получили очень приятное впечатление: веселые березовые рощи, расположенные на холмах, между ними – поля. Среди поля, у дороги, старый полузасохший дуб с громадным дуплом.

Проехав поле, въезжаем в перелесок; слева еловый лес с толстыми деревьями, справа плотина пруда, заросшая ольхами. По берегам пруда с одной стороны стена леса, а с другой – зеленый скат, по которому разбросаны кupy старой сирени, она вся в цвету. Дальше дорога поднимается в гору по полям. И справа за полем на бугре виден уголок дома, от которого к пруду стоит стена деревьев сада. От дома к дороге идет березовая аллея. И сад, и аллея были когда-то стрижены, а потом запущены. И на каждом толстом внизу стволе, на одной и той же высоте (около 2 саженей) пошли прямо вверх по несколько побегов.

Перед домом маленький тесный палисадник, полный цветущей сирени, жимолости и шиповника. Дом двухэтажный: низ невысокий, каменный, верх деревянный, с высокой крышей, крытой старым тесом...»

Дом оказался основательно запущенным, но покупка состоялась. Мария Яковлевна Симонович-Львова писала, что он выбрал это имение из-за его живописности: «...тут сказался в нем художник, увлекшийся чудным местоположением и какою-то поэтической прелестью этих полей, лесов и тех одиннадцати прудов, идущих один за другим, выкопанных, конечно, крепостными людьми в отдаленные времена».

Двери просторного домоткановского дома были всегда широко открыты для многочисленных родственников, друзей и знакомых. Особенно любил бывать в там Серов. Его мать писала: «... Домотканово вызвало на его холстах ту мягкую сочную красочность, которою залюбовывались ценители его таланта».

В этой усадьбе Серов создал более тридцати произведений, в том числе такие известные, как «Портрет Н.Я. Девиз с ребенком», «Девушка, освещенная солнцем», «Заросший пруд», «Октябрь. Домотканово», «Баба с лошадьё» и др., а также иллюстрации к басням И. Крылова. Позировала для картины «Девушка, освещенная солнцем» Мария Яковлевна Симонович, сама художница. Позировала терпеливо, целых три месяца. Уже после Второй мировой войны, когда в Париже открылась выставка картин из Третьяковской галереи, к одной из сотрудниц подошла смотрительница и сказала: «Там какая-то ненормальная старуха просит передать, что пришла девушка, освещенная солнцем». Это была она, М.Я. Львова (Симонович). Ей мы обязаны еще одной картиной Серова – «Заросший пруд. Домотканово». Первый сеанс ему не удался – не дали работать комары. И вот все время, пока он писал это полотно, Мария Яковлевна сгоняла с него комаров, которых по вечерам бывало множество.

А портрет Надежды Яковлевны Девиз с ребенком Серов написал на листе кровельного железа, оставшегося после ремонта крыши. Как считала ее сестра, Нина Яковлевна, «портрет передает своеобразие, почти бесплотность страждущего о светлом, легком состоянии, но твердого в своих убеждениях существа».

Но чем же был занят хозяин Домотканова? И есть ли среди многих серовских портретов изображение самого Девиза? Есть портрет, сделанный быстро, в один день. Серов вдохновился его загоревшим на сельскохозяйственных работах лицом, отросшей рыжей бородой – был сенокос – и Девиз мог позировать только урывками.

Хозяин усадьбы много занимался сельским хозяйством. Вскоре имение стало процветающим. Дервиз купил породистого быка, чтобы улучшить породу коров. И сделал это не только для себя, но и для крестьян окрестных деревень. Он внедрил посевы кормовых трав, проводил селекционную работу; молоко возили продавать в Москву, делали из него сыр – Дервиз организовал сыродельный завод. Он отдавал землю крестьянам в аренду и агитировал их объединяться в артели. Построил школу для крестьянских детей, преподавала в ней А.С. Симонович. На зимних каникулах для учащихся в домоткановской усадьбе устраивали рождественские елки. Нина Яковлевна Симонович-Ефимова вспоминала: «Во всех комнатах клеились для конфет и орехов бонбоньерки, изображающие дома, лодки, зверей – 70 штук. Все изощрялись в остроумии. Навязывалось на разноцветный гарус 70 антоновских яблок, 70 знаменитых тверских пряников – барынь под зонтиком, стерлядей, Наполеонов в треуголках, пешком или на лошади, и пр. Мы с Надей маленькой разучивали пьесу народного Петрушки по лубочному изданию Ключкина с деревянными куклами, присланными Машей из Парижа. Иногда мы и сами разыгрывали инсценировки, но ввиду тесноты обстановки Петрушка был удобнее...

Глаза крестьянских ребятишек сверкали, кажется, ярче елочных свечей, во всяком случае, дольше». Вот на одном из таких праздников Серов и изображал слона. Бывали наездом в Домотканове и другие художники: И.И. Левитан, И.Я. Билибин и его жена художница Рэнэ О'Коннель.

Дервиз активно участвовал в деятельности Тверского земства. Этот вопрос был изучен И.С. Зильберштейном и В.А. Самковым. В 1890-х годах Дервиз занимал ряд выборных должностей: члена Тверского уездного училищного совета, председателя Тверской уездной земской управы, гласного Тверского уезда земского собрания, почетного судьи Тверского и Корчевского уездов. А в 1900-ом был выбран председателем Тверской губернской земской управы. В 1903 году Управой была составлена записка о мерах, которые надо предпринять «к изменению существующих порядков в целях улучшения быта сельского населения и условий сельского хозяйства». Видимо, записка была столь радикальной, что возник конфликт Тверской губернской управы с местными и столичными властями, получивший широкую огласку в печати.

Власти обратили внимание на то, что Дервиз дает работу в Управе, а, следовательно, и средства к существованию поднадзорным, так что наплыв в Тверь лиц, состоящих под надзором полиции, существенно увеличился. В одном из донесений начальника Тверского жандармского управления (28 июля 1903 года) говорилось: «Городская полиция не рискует обращаться в губернскую управу ни за какими справками, и даже г[осподин] губернатор на мою просьбу, обращенную к полицмейстеру относительно доставления списка служащих в Управе, заявил мне, что таковой получить невозможно, потому что не только полицмейстеру, но и ему самому председатель фон Дервиз списка не дает».

И когда в 1903 год Дервиза вновь избрали председателем Тверской губернской управы, он не был утвержден в этой должности, вскоре его даже выслали из губернии «ввиду вредного его влияния на ход земского управления».

Но в революционный 1905 год Дервиз снова стал председателем Губернской управы. Князь С.Д. Урусов, бывший в течение семи месяцев Тверским губернатором, подав в отставку, в мае 1905 г. прислал Дервизу письмо в ответ на постановление земского собрания об учреждении стипендии его (Урусова) имени в училище, основанном для подготовки учителей земских школ. В нем, в частности, говорилось: «...тем более трудно было бы мне найти случай проявить инициативу в той области управления, которая входит в круг ведения земских учреждений, так как Тверское земство издавна и заслуженно пользуется репутацией деловитости и самостоятельности, идя в этом отношении в первых рядах тех общественных учреждений, которые поставили себе задачей просвещенный бескорыстный труд на пользу народную».

Одно из собраний Тверского земства закончилось избиением участников черносотенцами. К избивавшим присоединилась и часть полицейских. В те тревожные дни Дервиз опубликовал в «Русских ведомостях» (30 октября 1905 года) письмо о пострадавших в Твери от черносотенцев. В следующем году он протестовал против «ограничения публичности и гласности» губернского земского собрания со стороны администрации и поднимал вопрос о том, что участники погрома Земской управы в октябре 1905 г. не привлечены к судебной ответственности.

Управа занималась самыми разными делами губернии: организацией просвещения, здравоохранения, страхования, дорожным и иным строительством, сельским хозяйством и пр., так что Дервиз накопил большой опыт в хозяйственных вопросах. В 1912–1913 годах он был директором Общества взаимного кредита в Тверской губернии и членом правления Тверского комитета Общества Земского союза по снабжению армии, а с 1916 года председателем этого комитета.

В 1908 году скончалась жена Владимира Дмитриевича. Смолк рояль, на котором она по вечерам аккомпанировала мужу, когда он пел романсы Чайковского, Шумана. Но подросла их дочь Мария. Дом снова наполнился молодыми голосами: приезжал жених Марии Владимировны, художник В.А. Фаворский и жених Нины – младшей дочери А.С. Симонович – скульптор И.С. Ефимов, приезжали М.В. Шик, учившийся тогда на философском отделении историко-филологического факультета Московского университета и его будущая жена княжна Наталья Дмитриевна Шаховская. Это была веселая компания молодежи.

Сын скульптора Ефимова Адриан Иванович писал: «В Домотканове, с его небольшим, но романтическим парком, с живописной цепочкой прудов, с окрестными полями и лесами неброской, но милой красоты, в дружественном окружении добрых, высококультурных людей, которых умел объединить гостеприимный хозяин, – как-то естественно возникала потребность рисовать родные пейзажи и интерьеры, писать и лепить портреты родных и портреты знакомых крестьян. Следовать Серову». В Домотканове возникла группа людей, «связанных не только родственными теплыми узами и профессиональными творческими интересами, но и людей единого стиля жизни, единого психологического настроения, единомышленников в отношении к людям, к Природе, к Искусству, к понятиям Долг, Совесть, Честь».

Организаторский талант Дервиза проявился еще в одном начинании. В начале 1910-х годов он принял живое участие в кооперативном строительстве дач в Крыму

между Балаклавой и Симеизом. Это был кооператив художников и писателей, в который входили, в частности, В.Г. Короленко и И.Я. Билибин. Девиз построил маленький домик и согласился жить там некоторое время, наблюдая за строительством дороги к дачному поселку. К этому периоду относятся некоторые его крымские акварели. Но началась Первая мировая война. Власти из-за немецкой фамилии заподозрили в Девизе шпиона и выслали его из Крыма.

Бурная общественная деятельность Девиза прервалась после Октябрьского переворота. В конце 1917 г. в Домотканово явился со II Съезда Советов матрос и объявил, что в 24 часа владельцы должны покинуть усадьбу, а их имущество полностью конфискуется. Сам Девиз находился в то время в Москве. Его брат, живший в усадьбе, пытался хлопотать перед губернскими властями, но безуспешно. Поняв, что хорошего ждать нечего, он покончил с собой. Выгнали и тещу Девиза А.С. Симонович, долгие годы учившую в школе крестьянских ребят. Ей разрешили взять свои вещи, но она от такой привилегии отказалась. В усадьбе устроили коммуну, которая просуществовала, пока коммунары не съели всех коров.

Девиз жил некоторое время в Москве у своей дочери Елены. Но квартира была маленькая, многонаселенная, и он переехал в Сергиев посад, где жила семья другой его дочери М.В. Фаворской-Девиз. Здесь он стал преподавать рисование в Педагогическом техникуме. Затем его привлек к работе в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры Андрей Евграфович Фаворский, свекор его дочери, который работал в Комиссии бухгалтером.

Девиз был принят в члены Комиссии в самом конце 1920 года. Рекомендовал его И.Э. Грабарь, знавший его как широко образованного, одаренного художника и «сверхчестного» человека. 10 марта 1920 года Девиз был назначен заведующим Выставочным отделом и музейным запасом (фондом), а затем ему было поручено «с соответствующим количеством сотрудников» разобрать весь музейный запас и составить опись вещей: гравюр, живописных работ, книг и пр. В то же время его ввели в административно-хозяйственную тройку. Он занимался массой хозяйственных вопросов: разрабатывал меры по охране ризницы и Лавры в целом, сверял с натурой инвентарные книги и т.д. В голодный 1922 год заботился об огородах, пчельнике и т. п., как источниках существования сотрудников. А положение было таким, что в марте 1922-го на заседании Комиссии рассматривался вопрос об обращении к американским музеям, имеющим характер, аналогичный характеру Сергиевского музея, или к институту Карнеги с просьбой оказать сотрудникам продовольственную помощь. Не раз рассматривались на заседаниях вопросы об огороде, о бывшем пчельнике Лавры, о возвращении лошади, временно переданной отделу Наробраза и т.п. Сохранился рисунок Девиза с надписью: «Звонковая и Каличья башни. Дежурство на огороде. 29 мая 1921 года. 11 часов вечера». То есть приходилось охранять только что посаженную картошку.

Весной 1922-го Девиз был назначен председателем Комиссии, а в отчете о работе музея за период с октября 1924 г. до октября 1925-го впервые назван заведующим, то есть директором музея.

Но в сентябре 1924-го в музей был принят в качестве заместителя директора некий молодой человек 25 лет – Михаил Григорьевич Захаров, член партии, в прошлом относившийся к среднему комполитсоставу. Он активно взялся за дело: предложил создать Музей революции, уголок безбожника, продать один из колоколов и приобрести на эти деньги гипсовый бюст Ленина. Последнее он успел выполнить, и в газете появилась заметка, констатирующая, что «у входа в Митрополичьи покои, на площадке, наверху в свете красных ламп на красном постаменте иронически щурится белый бюст Ильича». И это при том, что Н.Н. Померанцев, возглавлявший в Главнауке Церковную секцию, к которой относился музей, требовал убрать из музея все новое, нарушающее впечатление. Дервиз, которому было в то время 65 лет, и Захаров не сработались. Так что Ревизионная комиссия в начале 1925 года решила устранить обоих. Захаров уволился по собственному желанию, а Дервиз перешел на должность заместителя директора и одновременно хранителя. С А.Н. Свириным, который был назначен исполняющим обязанности директора, у него были прекрасные отношения.

Вот какую характеристику Свирин дал впоследствии Дервизу: «Глубокая культура, широкое образование, природная художественная одаренность и большой такт, которыми обладал В[ладимир] Д[митриевич], были чрезвычайно ценными качествами для деятельности в таком музее, если учесть обстановку, в которой протекала работа. Задача превратить огромный монастырь в музей была чрезвычайно сложной и трудной. Одним из основных вопросов был вопрос об охране музея. Вначале охрана была организована из монахов, и, надо отдать им должное по справедливости, они работали безукоризненно. Административный опыт и такт Вл[адимира] Д[митриевича] помогли ему в этой деятельности. Чрезвычайная скромность, лишенная самомнения, и деликатность способствовали успеху его деятельности. Как заведующий музеем он сам занимался инвентаризацией сокровищ, хранившихся в музее. Насколько трудна была эта работа, легко можно представить, если учесть, что помещение ризницы, где хранились драгоценности, не отапливалось, а предметы из золота и серебра надо было держать в руках и тщательно рассматривать. Владимир Дмитриевич в своем старом полушубке и в какой-то маленькой шапке, не закрывающей ушей, ежедневно проводил работу, не обращая внимания на холод.

Чрезвычайно приятен был Владимир Дмитриевич в совместной работе по организации музея. У нас установились с ним подлинно товарищеские отношения в лучшем смысле этого слова. Его природный ум, вкус и общая культура очень облегчали совместную трудную работу. Мы понимали друг друга с полуслова». Дервиз и Свирин проработали вместе семь лет. Оба они жили прямо в музее.

Алексей Николаевич Свирин (1886–1976) происходил из семьи военного врача – генерала. Окончил юридический факультет Казанского университета, слушал лекции и на филологическом факультете. В 1913 году поступил на службу в Государственный контроль, в Амурскую контрольную палату в Хабаровске. Там он стал участником этнографического кружка, организованного известным путешественником, писателем и этнографом В.К. Арсеньевым. Последний так писал о Свиристине в связи с хлопотами о переводе его в Москву или Петербург: «...рекомендую его как человека высокоинтеллигентного и образованного. По окончании университета он много работал

над изучением русского зодчества, и на этом деле, что называется, съел собаку... Кроме зодчества, он хорошо знает древнерусское искусство. В его лице вы найдете не только хорошего и полезного для музея работника, но и хорошего, честного человека. Один у него недостаток – это излишняя скромность...»

Свирин получил перевод, но это было уже в 1916 году, и не в Москву или в Петербург, а на Северный фронт, в органы контроля. Потом его перебросили на Западный фронт, затем – в Контроль Московского военного округа, и в 1920 году его назначили заведующим отделением Контроля Московского военного округа в Сергиевом Посаде. Таким вот необычным образом этот человек попал в Посад. Здесь он в августе 1920 года стал членом Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. И когда в октябре того же года встал вопрос о его переводе по службе в другой город, Комиссия просила оставить его, так как он «в качестве хранителя историко-художественного музея проявил большую энергию и любовь к делу по развертыванию музея. Кроме того, большие познания в области искусства делают тов. Свирина совершенно необходимым для работ по подготовке открытия музеев...»

В начале 1920-х годов Свирин занимался устройством музея быта высшего духовенства (Митрополичьего дома) и отделом «Древнерусского шитья при Митрополичьих покоях», созданием музея в Вифании (покоев митрополита Платона), изучением загородной резиденции митрополитов Корбухи. Участвовал он в инвентарной описи ризницы в связи с изъятием ценностей в пользу голодающих. Устраивал различные выставки, делал доклады, сделал опись тканей XIV–XVII веков Троице-Сергиевой лавры. Свирин писал, что драгоценные иноземные ткани были бы почти недоступны для глаз народной массы, если бы не употреблялись в церковном обиходе в виде фелоней, покровов, пелен, одежд на престолы. Узоры этих персидских, венецианских тканей «пленили глаза людей того времени, они запечатлевались в их памяти, и тем самым мотивы иноземных тканей вошли в русский орнамент, русскую фреску, икону и, наконец, набойку».

1925 году вышел из печати написанный Свириным удивительно поэтичный путеводитель по музею, начинающийся словами: «Окаймленные высокою, суровою стеною с башнями-бойницами возвышаются среди редкой зелени все здания б[ывшей] лавры, возглавляемые единственной по красоте стройной, прозрачной колокольней...»

Дервиз прекрасно владел французским языком и знал английский. Приезжавшим иностранцам он сам показывал музей и давал объяснения. Вот несколько отзывов о музее тех лет. Мексиканский художник Диего Ривера записал в книге отзывов: «Я восхищен музеем в Сергиеве и обворожен милой любезностью, с которой был здесь принят ...» Английский профессор Мартин Конвей оставил такую запись: «Этот день будет мне всегда памятен, как один из больших дней моей жизни. Я увидел удивительнейшие и превосходные вещи в приятной компании и в очаровательной исторической глубоко интересной обстановке. Все, что сделано, сделано удивительно. От души желаю, чтобы дело было доведено до совершенного конца». Корреспондент газеты «Германия» Цинау записал: «С величайшим интересом прошел я по музею Троице-Сергиевой лавры,

продуманность расположения которого говорит о большой любви и полном понимании дела хранителем музея».

Летом 1927 года начались нападки на музей: в сергиевской газете «Плуг и молот» появился фельетон, содержащий клеветнические сведения, порочившие Дервиза. А настоящая кампания травли музея развернулась в марте 1928 года. (Подробный обзор клеветнических публикаций того времени сделан в работе С.М. Половинкина, П.В. Флоренского «Второй арест», – сборник «П.А. Флоренский: арест и гибель» Уфа, 1997).

Началась кампания с выходом номера журнала «Безбожник у станка», в котором была помещена фальшивка – «Списки личного состава Церковных Советов г. Сергиева». Среди названных членов этих «Советов» были научные сотрудники музея граф Олсуфьев и барон фон-Дризен (так была искажена фамилия Дервиза. – Т.С.).

11 мая 1928 года в «Рабочей газете» – ежедневной газете ЦК ВКП (б) – появилась статья без подписи «Троице-Сергиевский "музей"», в которой подчеркивалось, что в музее работают титулованные особы.

16 мая 1928 года в той же газете было написано: «Главнаука много раз ставилась в известность о личном составе работников бывш. Троице-Сергиевой Лавры – ныне музея Главнауки. В Сергиев приезжал заведующий музейным отделом, который заявил, что их "заменить некем". Заявление, скромно говоря, странное».

А в газете «Рабочая Москва» 17 мая 1928 года была помещена большая статья «Сергиевский музей – рассадник поповщины». В ней с подзаголовком «Под новой маркой» было сказано: «На западной стороне феодальной стены появилась только вывеска: "Сергиевский государственный музей". Прикрываясь таким спасительным паспортом, наиболее упрямые «мужи» устроились здесь, взяв на себя роль двуногих крыс, растаскивающих древние ценности, скрывающих грязь и распространяющих зловоние. Богатейший источник антирелигиозной пропаганды превратился в рассадник поповщины».

Местная газета «Плуг и молот» поместила среди прочих обвинений по адресу музея и такое: «Научный работник Дервиз, руководя экскурсиями, благоговейно снимал головной убор перед мощами Сергия».

Между тем в это время это был большой и активно работающий музей. В нем были Историко-художественный отдел (иконопись, шитье, книги, ткани, изделия из золота и серебра, резьба по дереву и кости XIV–XX веков); Бытовой отдел (жилые покои высшего духовенства XVII века, экипажи XVIII века, келья рядового монаха), Чертоги (царский быт), келарня (предметы хозяйственного обихода), Гефсиманский скит (бытовая обстановка XIX века); Культурно-исторический отдел (архитектурные памятники XV–XIX веков, материалы, относящиеся к памятникам зодчества, их иконография, кабинет гравюр). Музей вел активную научно-исследовательскую работу, занимался культурно-просветительской и издательской деятельностью, проводил реставрационные работы.

Когда в мае 1928 года в Сергиевом Посаде были проведены массовые аресты, в число арестованных попали 14 монахов, работавшие музейными служителями и сторожами и жившие тут же в помещениях музея. Вот их имена: Васильев Арсений Семенович (о. Сергей), Васин Михаил Петрович (о. Марк), Глущенко Матвей Макарович

(о. Мелентий), Дыров Александр Николаевич (о. Аристарх), Егоров Дмитрий Иванович (о. Диомид), Калинов Яков Сергеевич (о. Иларий), Кононенко Савва Иванович (о. Серафим), Ларичев Даниил Иванович (о. Дамиан), Мамотин Игнатий Андреевич (о. Игнатий), Покатов Николай Васильевич (о. Варнава), Потапов Иван Николаевич (о. Иероним), Семейчинский Михаил Николаевич (о. Мирон), Сморгчов Никон Фролович (о. Никодим), Снисаренко Егор Герасимович (о. Геннадий).

Среди этих имен надо выделить Егорова (о. Диомида). Он был не сторожем, а заведующим ризницей и неоднократно получал вознаграждения за работу. Например, в протоколе заседания Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры от 11 мая 1922 года записано: «Ввиду того, что Д. Егоров является исключительным знатоком древностей, хранящихся в музеях Лавры, и незаменимым руководителем для посетителей музея – довести его вознаграждение по разряду на одну степень ниже вознаграждения членов Комиссии».

Эти люди сохранили Лавру, сохранили ризницу, что было очень непросто в те времена. Не было в 1920-е годы ни одного случая удавшегося ограбления Лавры или воровства ценностей во время их работы.

Проходили монахи по так называемому делу «Антисоветской группы черносотенных элементов в г. Сергиево Московской области». Известно, что вещи Потапову (о. Иерониму) были высланы по его просьбе в Среднюю Азию. Место ссылки остальных установить не удалось.

Помещения, в которых жили сторожа, были ими заперты при аресте; в дальнейшем их вскрыли. При проверке Ревизионной комиссией в марте 1929 года была обнаружена недостача вещей. Часть принадлежавшей арестованным мебели была приобретена без торгов рядом лиц, в том числе завхозом П.И. Готтом. В объяснительной записке о недостаче мебели и инвентаря он писал в Ревизионную комиссию: «...В общем говоря, работы никакой не велось, и, несмотря на то, что я был окружен чуждым элементом, начиная с научного работника б. графа и кончая сторожем, б. монахом, я со всей энергией отдался работе по укреплению бюджета музея...»

Как шла работа по «укреплению бюджета музея», хорошо видно из заявления машинистки Т.В. Розановой о краже Готтом из помещения канцелярии красного сукна, ковра, ламп, чернилниц, постепенно исчезавших стульев. Небезынтересно и такое ее свидетельство, хранящееся в архиве музея: «При ликвидации могильных памятников, находящихся на территории музея, ко мне на квартиру приходила гр. Истомина, которая меня немного знала и знала, что служу в музее. Она обращалась ко мне с вопросом, к кому ей следует обратиться по поводу ее памятника, поставленного на могиле родных. Что с ее памятником делается какая-то афера, что ее памятник, то есть, вернее, могильная плита, привезена из Италии, и она вся розового мрамора. Истомина мне объяснила, что эта вещь очень ценная и что к ней приходил покупатель и предлагал ей, кажется, за него большие деньги. Она говорила: "Мне деньги не нужны, я хочу сохранить памятник моих родных. К кому я могу обратиться?"

Я говорила, что ведает этим Готт, но что это дело бесполезное и что если ее памятник представляет большую материальную ценность, то дело ее проиграно, ибо Готт,

конечно, его под тем или иным предлогом продаст... В музее было правило: ликвидировать только те памятники, на оставление которых не было заявлений родных умерших и которые содержатся в беспорядке, хотя бы на них и было заявление. С объявлением музея о правилах сохранения памятников я наблюдала, что за ночь или за несколько дней количество поваленных памятников хорошей сохранности все увеличивалось».

В списке арестованных жителей города в мае 1928 г. фамилий Дервиза и Свирина не оказалось, и «Рабочая газета» с возмущением писала: «Заместителю заведующего местным музеем коммунисту Готту в Главнауке заявили:

– Хорошо! Мы заберем у вас и фон Дервиза, и Олсуфьева, но других людей не дадим. Можете закрывать свой музей...».

2 января 1929 года Свирин подал заявление об уходе и еще некоторое время сдавал дела. А музей был закрыт для посетителей, и открылся только в мае 1929 года. Он подвергся реорганизации и получил название «Сергиевский государственный бытовой и антирелигиозный музей».

«На место заведующего пришел Злинченко, одержимый манией кладоискательства, – писала одна из газет. – Он буравил стены, раскапывал могилы, перетряхивал древние скелеты в поисках каких-то несметных богатств.

Одолеваемый революционными чувствами, тот же Злинченко задумал переименовать башни, церкви да корпуса б[ывшего] монастыря революционными названиями - так, чтобы получилось, например, келья «имени Октябрьской революции» или храм «имени Коминтерна». Кроме того, он распорядился замазать на стенах старинную религиозную роспись с тем, чтобы заменить ее портретами революционных вождей, и там, где прежде Георгий-Победоносец поражал гидру, Злинченко собирался запечатлеть черты тов. Калинина и тов. Буденного. Но не успел. Его сняли. Злинченко ушел, оставив по себе густую атмосферу кумовства, подхалимства, бесхозяйственности, которые пышно расцвели при нынешнем заведующем – Федине.

Ко всему этому, под авторитетным руководством Федина, присоединяется пьянка. Не довольствуясь существующими марками вина, пьют реставрационный спирт в мастерской, реставрируя таким образом в натуре бытовые монастырские картины. Не довольствуясь собственными квартирами, пьют в ризнице – это шикарно!

Бюро партийной ячейки просвещенцев в своем заседании 22 октября выразилось по этому поводу более определительно... «бюро ячейки констатирует... пьянство Федина с сотрудниками, семейственность, когда частная контора его сотрудника – Гомзы являлась местом руководства под бутылку водки, что породило бесхозяйственность, слабость руководства, попустительства к допущению систематического пьянства...».

– «Комиссия обнаружила, – гласит акт профсоюзной комиссии от 29 сентября, – что среди сотрудников музея происходит систематическая пьянка поочередно в квартирах разных лиц».

Допиваются до того, что попадают на страницы местной газеты.

«Глубже, – пишет «Плуг и молот», – должна заинтересоваться сергиевская общественность работой музея, где сотрудники пропивают краеведение».

Из всего этого с достаточной отчетливостью вырисовывается фигура зав. музеем Федина.

В протоколе бюро ячейки мы находим постановление:

«Снять т. Федина – зав. музеем – и объявить ему строгий выговор с предупреждением, что подобные случаи поставят т. Федина вне рядов ВКП (б)».

Это было 22 октября. Федин, однако, снят не был.

В акте специальной комиссии районной КК РКИ мы читаем:

«Немедленно снять с работы директора музея т. Федина за слабое руководство музеем, неиспользование своих административных прав, участие в семейной выпивке, объявить строгий выговор с предупреждением об исключении из рядов ВКП (б) с запрещением занимать ответственные должности в течение 2 лет».

Это было 7 ноября. Федин тем не менее – до сих пор директор музея.

Так же недвусмысленна фигура сотрудника музея Гомзы. Бывший меньшевик, исключенный из союза безбожников за пьянство, этот «научный работник» является неизменным собутыльником Федина.

Остальные члены той же компании – научный сотрудник Струве, отстраненный МОСПС от экскурсоводства за политическую неблагонадежность, но тем не менее на музейной работе директором музея оставленный. По общему признанию – Струве в музейном деле полный профан. Достойный член той же компании Рысин – пом. зав. музеем, исключенный из партии за пьянство и дебош. Сюда же примыкает целый ряд технических сотрудников музея, члены месткома, во главе со своим председателем и пр.

К пьянке присоединяется целый ряд столь же малопривлекательных дел. У сотрудников, например, наблюдается слишком любовное отношение к музейным экспонатам – преимущественно к ценным. Драгоценные вещи берутся из витрин для "научной проработки на дому" и не возвращаются. Охрана музейных ценностей, вообще, поставлена из рук вон плохо...»

И этот директор не задержался в музее надолго. Вот две записи из дневников М. Пришвина 1930 года: «Директор музея Дунин, вероятно, сойдет с ума, потому что, будучи совершенно невежественным (только грамотным), признал, говорят, все глупым, читает толстые книги, стремясь стать на высоту достоинств директора Истор[ико] художественного музея». (20 марта 1930 г.).

«Т. Дунин, директор музея искусств в Сергиеве, вечером, уходя домой, захватывает с собой самую толстую книгу и всю ночь читает, стремясь догнать мир в отношении культурности. Он читает всю ночь напролет какую-нибудь загадочную книгу, например, о древнерусской старине, и старается понять это явление с точки зрения экономического материализма. Мало-помалу он так натерел в этом, что за ночь мог перевести на марксизм довольно толстую книгу». (12 мая 1930 г.).

Стоит ли после этого удивляться словам директора Сергиевского музея А.Н. Свирина? Запись в дневнике М. Пришвина 27 апреля 1930 года: «Встретил искусствоведа из Третьяковки (Свирина) и сказал ему, что для нашего искусства наступает пещерное время и нам самим теперь загодя надо подготовить пещерку. Или взять прямо решиться сгореть в срубе по примеру наших предков 16-го в. Свирин сказал на это, что у него из

головы не выходит – покончить с собой прыжком в крематорий. "А разве можно?" – спросил я. "Можно, – сказал он, – когда ворота крематория открываются, чтобы пропустить гроб, есть момент, когда можно прыгнуть».

Но Свирина пережил тяжелые времена. Он ушел из Третьяковской галереи и очень вовремя уехал в Армению, где с 1935 по 1937 год работал в Государственном музее изобразительных искусств Армении. Вернувшись в Москву, он с 1937 по 1940 год заведовал музеем Московского текстильного института. С 1940 года и почти до конца жизни работал в Третьяковской галерее, преподавал во многих учебных заведениях, в том числе в МГУ и ВХУТЕИНе. Написал большое количество книг и статей по изобразительному искусству (Древнерусская миниатюра. М., 1950; Московский Кремль. М., 1956; Древнерусская живопись в собрании ГТГ. М., 1958; Древнерусское шитье. М., 1963; Искусство книги в Древней Руси XI–XVII веков. М., 1964; Ювелирное искусство Древней Руси XI–XVII веков. М., 1972 и др.). Во многих его трудах им использованы сведения о коллекциях Сергиевского историко-художественного музея.

Он был человеком, не обращавшим внимания на жизненные удобства. Полностью отдавался работе. Жил в маленьком домике рядом с Третьяковской галереей, сначала в подвале, потом на чердаке, и только позже получил комнату. Вещей у него почти не было. Спал на столе, потом приобрел раскладушку. Незадолго до смерти его устроили в пансионат для престарелых, где он и скончался в 1976 году в возрасте 90 лет. Часть его работ так и осталась неопубликованной (фонд 728 в отделе рукописей РГБ).

Дервиз вышел в отставку летом 1928 г. Он проработал в Комиссии и музее семь с половиной лет. Научных работ у него немного. На основании архивных материалов он написал брошюру «К вопросу об экономическом положении бывшей Троице-Сергиевой лавры (Доходы и расходы Лавры за 1917 г.)», изданную в 1926 году (40 с.). Изучал он также хозяйство монастыря по описи 1641 г. и составил очерк о средствах обороны монастыря, имевшихся в XVII веке. Работая над этой темой, специально ездил в Ленинград для изучения древних пушечных лафетов в Артиллерийском историческом музее. Как и работы других сотрудников музея – Олсуфьева и Свирина, которые не были в то время опубликованы, эти работы не сохранились.

Но главным делом Дервиза было сохранение Лавры, сохранение ризницы, что было очень непросто в те времена. За весь период его работы не было ни одного случая удавшегося ограбления или воровства ценностей Лавры. Он сумел отстоять в 1922 г. должность эксперта по древнерусскому искусству для Олсуфьева, что было абсолютно необходимо в связи с составлением описей на передачу ценных вещей для Помгола. Тогда удалось сохранить ценнейшие в художественном отношении золотые и серебряные произведения искусства.

После ухода из музея Дервиз остался без крыши над головой, ведь он все годы в Сергиеве жил в одном из корпусов музея. Его приютил старый товарищ, с которым он учился еще в Училище правоведения. Порой он гостил в Загорске у дочери – М.В. Фаворской. В конце жизни потерял ногу, попав под трамвай. Скончался он 13 апреля 1937 г. на 78 году жизни, похоронен на Введенском кладбище.

Дервиз был незаурядным художником. Но во время жизни в Домотканове у него было не так уж много времени для занятий искусством. В Сергиевском музее

административно-хозяйственная деятельность тоже оставляла мало времени для занятий живописью, но известна, по крайней мере, одна его акварель, относящаяся к 1928 г.: пейзаж «Лавра зимой» с Успенским собором и Надкладезной часовней – тогда нежно-розового цвета. Писал он этот пейзаж из окна Казначейского корпуса Лавры, видимо, из той комнаты, в которой жил.

До революции он писал пейзажи Ниццы и Швейцарии, Финляндии и средней полосы России. Но где художнику удавалось вволю поработать, так это в Крыму. Еще в 1913 г. он влюбился в этот край. Дервиз оказался одним из немногих художников, вдохновившихся красотой южного берега Крыма. Особенно привлекала его ранняя весна, когда нежная, едва распустившаяся, еще желтоватая листва контрастирует с темным цветом вечнозеленых деревьев. Любил он писать и осень – с деревьями, вспыхивающими оранжевым цветом среди насыщенной зелени. Жизнеутверждающая энергия сочной южной природы отвечала его характеру, характеру человека-созидателя.

У этого художника нет блеклых, усталых тонов. Краски его насыщены и чисты, акварели воздушны, наполнены светом. Нередко он сочетал в одной работе письмо по сырому и по сухому, что позволяло мягко передать облака и первый план и в то же время четко изобразить стволы, листву, камни плетень... Во время отпуска он несколько раз ездил в Крым, в ту местность, где когда-то участвовал в строительстве дачного поселка, и писал там так полюбившиеся ему тогда еще пейзажи. Позже он написал несколько пейзажей Загорска из окна дома на Кооперативной улице, в котором жили Фаворские. И тогда, когда художник был уже лишен возможности свободно передвигаться, его работы полны той же спокойной красоты, которая так характерна для его крымских работ.

Жизнь Дервиза сложилась так, что художественное его наследие кажется не очень большим. Впрочем, значительная часть его работ в трудные годы была продана родственниками через комиссионные магазины, так что оценить объем его творчества теперь трудно. Ряд акварелей находится в Третьяковской галерее – подарки искусствоведов А.А. Сидорова и А.Н. Свирина. В последние годы были открыты две выставки, на которых были показаны акварели Дервиза: в Сергиево-Посадском историко-художественном музее-заповеднике (2000) и позже в Музее-заповеднике А.С. Пушкина в Больших Вяземах.

А в Домотканове открыт музей В.А. Серова (филиал Тверской художественной галереи). Он расположен в маленьком деревянном доме, построенном братом художника Валерианом Дмитриевичем. Там выставлены репродукции картин Серова. Главный же усадебный дом находится в полуразрушенном состоянии. Однако музей привлекает массу посетителей из Москвы, из разных городов России. Привлекает тот гений места, который продолжает, видимо, жить в чудесном полузапущенном парке, и необыкновенно милое гостеприимство сотрудниц музея.

П.А. Флоренский и его соседи Огнёвы

Сам уроженец Кавказа, он (отец Павел) нашел для себя обетованную Землю у Троице-Сергия, возлюбив в ней каждый уголок и растение, ее лето и зиму, весну и осень.

С.Н. Булгаков

О Павле Александровиче Флоренском (1882–1937) так вспоминала Т.В. Розанова: «...он писал так, что ни один человек не мог его прочесть, потому что знал такое количество языков, что в процессе своей творческой работы он перепутывал буквы всех языков». Конечно, это преувеличение. Но действительно, часть трудов Флоренского была им не написана, а продиктована. Его дочь Ольга Павловна вспоминала: «Мой отец, позанимавшись дома, уходил к Софье Ивановне. Он ходил по комнате и диктовал ей, а она послушно писала до тех пор, пока мама меня не посылала за ним, чтобы он шел обедать». В этих воспоминаниях речь идет о Софье Ивановне Огнёвой, урожденной Киреевской (1862–1940), жене профессора Московского университета Ивана Флоровича Огнёва, выдающегося биолога.

Она была одаренной женщиной с типичным, чисто русским лицом, притом настолько характерным, что профессор А.П. Богданов выпросил ее карточку для своей этнографической коллекции русских лиц. Ее сын Сергей так описывал Софью Ивановну: «В молодости она была высокой, стройной, белокурой девушкой, беспечно веселой. Ее большие серо-голубые глаза глядели прямо, открыто, с той особой привлекательностью, которая свойственна натурам цельным и непосредственным. Тонкий рот выражал энергию и решимость. Но не эти качества преобладали в натуре С[офьи] И[вановны]. Она была на редкость добрым, чутким и впечатлительным человеком. Все дурное, пошлое было настолько ей чуждо, настолько далеко, что нередко плохо замечалось ею в других. Обычно она видела в людях прежде всего их хорошие стороны. Быть может, плохие люди, встречаясь с нею, невольно чувствовали открытую доброту, ясность ее души и старались показать себя с лучшей стороны... Ее яркая живая натура реагировала на многое. Она увлекалась театром, искусством, особенно живописью, была прекрасно литературно образована, много читала и оригинально, по-своему, воспринимала прочитанное. Живой и яркий ум помог С[офьи] И[вановны] пополнить пробелы в образовании и достигнуть высокого уровня культуры».

В Сергиевом Посаде Софья Ивановна сблизилась с семьей Флоренских. А приехала она сюда в 1919 году на богомолье. Сняла комнату на втором этаже дома купцов Пивоваровых на Дворянской улице (ныне Пионерская, 15). Позже сюда приехали ее муж и старший сын Александр: в их московской квартире из-за отсутствия топлива не работало центральное отопление. Тогда Огнёвы сняли весь второй этаж. «Мы целые дни проводили у Софьи Ивановны, – вспоминала О.П. Трубачева (Флоренская). – Я у нее с пяти лет училась французскому языку, читала по-французски детские книжки. И мой брат Кирилл у нее учился. Как-то я готовила подарок папе. Софья Ивановна написала по-французски рассказ "Мишель и Мари", а я с помощью Софьи Карловны Духовской его

иллюстрировала. Получилась целая тетрадь. Софья Ивановна часто приходила к нам домой. Мы с братом всегда ее ждали, радовались ее приходу. Мик (младший сын П.А. Флоренского. – Т.С.) забирался к ней на колени и требовал, чтобы она занималась только им. Он брал ее лицо двумя руками:

– Ты с кем говоришь? Ты к кому пришла?

Она нас нещадно баловала».

Александр Иванович Огнев окончил историко-филологический и естественный факультеты Московского университета. В Сергиеве он преподавал в Педагогическом техникуме. В 1925 году заболел, и его повезли в Москву на операцию. Мать поехала с ним. Он умер на операционном столе. Софья Ивановна приехала в Москву в валенках, но во время похорон случилась оттепель. И студенты, учившиеся у Александра Ивановича, клали ей под ноги дощечки. Она ступала, дощечки переносили... Так она и дошла до могилы.

«Когда Софья Ивановна вернулась с похорон в Сергиев, – вспоминала О.П. Трубачева (Флоренская), – мы ее встречали на вокзале. Чтобы смягчить хоть немного ее горе, меня с Миком посадили рядом с ней на извозчика».

Другой сын Огнёвых, Сергей Иванович, стал известным зоологом, профессором Московского университета. Он часто приезжал в Сергиев, дружил с Кириллом Флоренским.

Жили Огнёвы и Флоренские рядом – на Пионерской (быв. Дворянской) улице. Павел Александрович Флоренский поселился в Сергиевом Посаде намного раньше Огнёвых – еще в 1904 году. Он приехал поступать в Московскую Духовную академию.

После окончания Академии жизнь Флоренского в Посаде была неустроенной, чувствовал он себя тоскливо. В книге «Столпы и утверждение Истины», написанной в виде писем к Другу, есть такие строки: «...Тогда я только что зажил самостоятельно и поселился в маленьком одиноком домике. Один, не только без мебели, но и без скамьи, чтобы присесть: часы были единственным предметом "обстановки". Сидел я на каком-то ящике, на нем и занимался. Холод, пустота и жизнь впроголодь... Особенно жутко было по вечерам. Темнело. Начинал накрапывать дождик, постукивая по железной крыше. Потом вдруг стучало сильно, заглушая сухой стук маятника. И – дождь шел взрыдами. Крыша взрыдывала в последней тоске и холодном отчаянии. Стучал, как комья замерзшей земли о крышку тесового гроба. Казалось, грудь открыта, и холодный дождь течет прямо в меня, в усталое и тоскующее сердце. Этот холодный осенний дождь навеивал мрачную тоску и жуткость. Во всем доме было лишь два живых существа: я да часы; а еще изредка бессильно жужжала муха в чернеющем, словно пасть, окне. Ах, и мухе я был рад...

От тоски не мог ни заниматься, ни молиться. Ничего не шло в голову. С последнею надеждою взирал я на лик Спасителя и на горящую перед ним глиняную лампаду. Тоскливо громыхал железом крыши внезапный порыв ветра! Жутко шумел за окном тремя березами».

Такое настроение, видимо, объясняется и одиночеством, и ненастной погодой, непривычной для него, уроженца Кавказа. Флоренский вырос в большой семье, где,

кроме родителей и семи детей, жили еще несколько его теток. Это был замкнутый мир, «уединенный остров», по словам Флоренского.

«Может быть, мне повредили в детстве люди, – писал он. – Уж слишком у нас в доме было сплошное тепло, сплошная ласка, а главное – сплошная порядочность и чистоплотность... Отрицательных же свойств жизни других людей мы не только не видели, но и подозревать о них не могли. В нашем доме самый отдаленный намек не только что на сплетни и пересуды, но даже на сообщение самых невинных новостей о чужих делах услышать было невозможно; что я говорю услышать – несомненно, подумать никто ничего такого не мог...

Человек невоспитанный, позволяющий себе заговорить о жалованье или не отвечающий в любой час дня и ночи на геологические или астрономические вопросы своего сына, представлялся мне вроде Джека-потрошителя или преступников, которым убить – все равно что выпить стакан чаю...

Формальная светскость и холод внешних отношений были бы в нашем доме неприличны. Но не менее неприлично было бы патетическое. Рыданье, вопли, восклицания – совершенно не могу представить себе чего-нибудь такого в нашем доме. А если бы Достоевский ворвался с этим в дом, то ясно представляю, мама сказала бы нам, детям: "Подите, побегайте во дворе, Федор Михайлович болен". Потом все взрослые переглянулись бы между собою и из деликатности разошлись бы по своим комнатам».

Флоренский горячо любил Природу. Он писал: «...цветочное царство в целом любил до самозабвения и считал, что я не могу не любить его, если даже моя фамилия – как я тогда думал – происходит от Флоры, богини цветов». В его воспоминаниях о детстве мы находим все богатство южной растительности: цикламены, фиалки с их теплым благоуханием, распускающаяся виноградная лоза, примулы, полевые гиацинты, фиолетовые и желтые ирисы, пурпурные кашки, чудесные темно-голубые болотные незабудки, глубоко-синие горечавки, розовые, белые, красные, сиреневые рододендроны, темно-желтые акации, азалии... «Во мне жило убеждение, убеждение моего сердца, что цветы – мои цветы, любимые мною, – любят меня, цветут именно для меня, и что мое невнимание к их красоте было бы оскорблением, скорее – ранюю, их горячему ко мне чувству». (о. Павел Флоренский). И еще было море... «Свои детские и отроческие годы я провел в постоянном и ненасытном, и всегда ненасытимым созерцании моря. Редкий день проходил без того, чтобы мы не побывали на берегу два, а то и три раза. Оно жило перед нами своей жизнью, ежечасно меняло свой цвет... Этот йодистый, зовущий и вечно зовущий запах моря; этот зовущий, вечно зовущий шум набегающих и убегających волн... Того моря, блаженного моря блаженного детства уже не видеть мне – разве что в себе самом», – писал Флоренский, живя уже в Сергиевом Посаде.

Эта влюбленность в природу тесно связана с тем, что у Флоренского с детства были обострены все чувства. Глаз его различал тончайшие оттенки цвета. Запахи были для него «выражением глубочайшей сущности вещей», поэтому его крайне занимали пряности, хранившиеся в доме. «Благоухания наполняли меня теплотою, – писал он. – Напротив, от звуков мне становилось холодно, порою настолько холодно, что я дрожал весь, как в сильнейшем ознобе, я чувствовал, что еще слушать – выше моих сил и что-нибудь может

случиться. Если при этом бывали взрослые, они иногда давали мне что-нибудь успокаивающее или прекращали музыку... Я музыку любил неистово, а ощущал почти до вражды; она слишком потрясала меня и слишком много от меня требовала, чтобы можно было относиться к ней как к удовольствию... При психической и нервной крепости я был все же впечатлителен до самозабвения, всегда был упоен цветами, запахами, звуками и, главное, формами и соотношением их, так что не выходил из состояния экстаза. Радость бытия, полнота бытия и острый интерес переполняли все мое существо...»

Зная эти особенности натуры Флоренского, нельзя не подумать о том, как прав был епископ Антоний Флоренсов, отказавший ему в благословении, когда тот хотел стать монахом.

Тяжелое душевное состояние Флоренского 1909–1910 годов изменилось с его женитьбой. Это была огромная перемена в его жизни. Об этом событии он так писал В.В. Розанову: «...мы охотились с близким мне человеком (я только хожу с ружьем и лишь делаю вид, что охочусь); стояли на болоте. Ноги вязнут и уходят в топь. Льет проливной дождь, и на нас нет ниточки сухой. Я чувствовал себя очень внутренне одиноким, изгоем не только людей, но и всего мира, внемирным. Только-только что перед тем, перед дождем, обнимал землю и обливал ее слезами, вне себя; материнство земли, даже самой простой, утопанной дороги порою мне ясно. И вот не успел немного утешиться, как полил дождь. И в голове стали ходить мысли уже безвольные. Мне вспомнилась одна девушка, сестра того, с кем я был на охоте, вспомнилось, что она в деревне одинока, что подходящих условий для себя не найдет; подумалось, что, быть может, будет доволен "этим" и друг мой... так отчего же не жениться на ней; "все равно" де "моя песня спета". Конечно, эти мысли ни к чему меня не привели бы, если бы не "случай" (по-людски) и знамение, по-моему. Только что подумались мне последние слова, как я машинально, сам не помню зачем, нагнулся и захватил рукой какой-то листик. Поднимаю его и вижу, к удивлению своему, четырехлистный трилистник – "счастье". Тут сразу ударила меня мысль (я почувствовал, что это не моя мысль), что в этом знамении воля Божия. При этом вспомнилось, что с самого детства я искал четырехлистный трилистник, обшаривая целые лужки, разглядывая множество кустиков, но несмотря на все старания, не находил желанного. Конечно, после всего этого (тем более что меня разом охватило какое-то спокойствие) я не мог медлить, сейчас, тут же на болоте, написал письмо, и в течение самого короткого времени все сделалось; только свадьбу пришлось отложить на две недели, т.к. был пост. Венчались мы 25-го, в сельской церкви у брата моей невесты, по моей просьбе почти никого на свадьбе не было, и мне было ясно, что венчание – таинство, так что теперь никакие споры не убедят меня в противном...».

Действительно, Флоренский нашел счастье в браке с Анной Михайловной Гиацинтовой. Она стала любящей женой, матерью пятерых детей, которых вырастила и воспитала в тяжелые времена. После женитьбы Флоренский принял сан священника (24 апреля 1911 года), а в следующем году был приглашен настоятелем в больничную церковь Мариинского убежища (приюта) сестер милосердия Российского общества Красного Креста в Сергиевом Посаде.

Анна Михайловна понимала необходимость для мужа, для семьи собственного дома. И подходящий дом, принадлежавший вдове врача П.И. Якуба, был куплен весной 1915 года. Этот одноэтажный деревянный дом на тихой Дворянской улице (ныне Пионерская, 19) стоит так, что из широкого окна центральной комнаты видна Лавра. Перед домом – кусты сирени, а сад, спускающийся по южному склону холма, отгорожен от улицы глухим забором. Тополя, липы, клены, жасмин, розы – подобием «уединенного острова», памятного Флоренскому с детства, стал и этот сад, и этот дом, в котором он устроил себе кабинет с деревянными книжными шкапами по стенам от пола до потолка. «Привыкнув с детства к уединенной жизни среди природы и в кабинете, я нашел в Сергиевом Посаде, – писал Флоренский, – все благоприятные условия для научной работы, за исключением одного, лаборатории, которую старался частично возместить разными суррогатами».

В этом доме выросли все пятеро детей Флоренского, в этом саду М.В. Нестеров писал знаменитый двойной портрет П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова («Философы»). «Сам уроженец Кавказа, он (отец Павел) нашел для себя обетованную землю у Троицы Сергия, возлюбив в ней каждый уголок и растение, ее лето и зиму, весну и осень», – писал С.Н. Булгаков.

Облик Флоренского в 1917 году запечатлен С.А. Волковым, слушавшим его лекции в Московской Духовной академии. «...Самая большая аудитория Академии переполнена. Минут за десять до звонка уже стоят в проходах, вдоль стен, сидят на подоконниках, толпятся возле двери. Звенит звонок, и появляется Флоренский – среднего роста, слегка горбящийся, с падающими до плеч черными, слегка вьющимися волосами, с небольшой кудрявящейся бородкой и очень большим, прямо гоголевским носом. Он бочком пробирается, почти протискивается сквозь толпу и выходит к столу перед студенческими скамьями. Сзади – большая доска. На кафедру Флоренский никогда не поднимался. И сразу наступает тишина.

Он не казался красивым. Было нечто восточное во всем типе его лица, особенно в его – «долгом» взгляде из-под приспущенных век, который падал как-то искоса, скользил по собеседнику и словно уходил внутрь его. Он никогда не надевал свой магистерский крест: черная простая ряса и серебряный наперсный крест, как у рядового сельского священника...

Движения Флоренского скованны, фигура несколько наклонена. Голос звучит глухо, и слова падают отрывисто. Вопреки ожиданию, в нем не было ни величественности позы и жестов, ни витийной плавности фраз. Речь лилась как бы изнутри, не монотонно, но и без риторических ухищрений и декламационного пафоса, не стремясь к красоте стиля, но будучи прекрасной по своему органическому существу.

Было некое магическое обаяние в его речи. Безо всякой усталости ее можно было слушать часами. Несмотря на глуховатый тон голоса, он живописал словами, вызывая соответствующие музыкальные отзвуки в душе слушателя, завораживающие всего его целиком...

За два года, что я учился в Академии, я не пропустил ни одной лекции Флоренского... Но особенно меня поразили лекции о Платоне... После них я выходил

прямо-таки опьяненный, чувствуя и себя в какой-то мере причастным к этой поистине божественной жизни. Хотелось жить, мыслить, творить».

В 1918–1919 годах П.А. Флоренский обращается к проблемам древнерусского искусства: статьи «Троице-Сергиева Лавра и Россия», «Храмовое действо как синтез искусств», «Обратная перспектива», и ряд других связаны с его работой в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, которая была создана осенью 1918 года. На первом же ее заседании 28 октября Флоренский был избран ученым секретарем. Он выдвинул идею создания в Лавре «живого музея», указывая на то, что художественное произведение не может жить в отрыве от условий своего бытия. В статье «Храмовое действо как синтез искусств», написанной в ноябре 1918 года, он отстаивал эту точку зрения, цитируя книгу П.П. Муратова «Образы Италии»: «Для античной скульптуры музей более губителен, чем картинная галерея для живописи Возрождения. Скульптура нуждается в свете и тени, в пространстве неба и тональном контрасте зелени, может быть, даже в пятнах дождя и в движении протекающей около жизни. Для этого искусства музей всегда будет тюрьмой или кладбищем. Глубокое волнение охватывает путешественника в тихом углу форума у источника Ютурны, из которой Диоскуры поили своих лошадей». Но, – спросим себя, – много ли цены было бы у камней этого самого источника, увезенных в Берлинский музей и разложенных на полках вдоль хотя бы и отлично просушенных стен?» – добавлял Флоренский.

Он предупреждал об опасности пути «умерщвляющего и обездушивающего коллекционирования» для деятельности Комиссии. Был убежден, что для художественного восприятия иконы освещение «должно быть то самое, в виду которого она написана. Это освещение отнюдь не есть рассеянный свет художественного ателье или музейной залы, но неровный и неравномерный, колышущийся свет лампы...». Он утверждал, что «тончайшая голубая завеса фимиама, растворенного в воздухе, вносит в созерцание икон и росписей такое смягчение и углубление воздушной перспективы, о которой не может мечтать и которой не знает музей». Флоренский напоминал о комплексе входящих в состав храмового действия искусства: «об искусстве огня, об искусстве запаха, об искусстве дыма, об искусстве одежды и т.д., исключительно до единственных в мире троицких просфор с неведомым секретом их печения и до своеобразной хореографии, проступающей в размеренности церковных движений при входах и выходах церковнослужителей...».

Флоренский считал, что говорить о Лавре надо как о целостном художественно-историческом и единственном в своем роде мировом памятнике, который должен быть сплошным музеем, «живым музеем».

В то время идею «живого музея» воплотить было невозможно. Но прошли годы. Теперь рублевскую «Троицу» можно видеть в Третьяковской галерее, освещенную ровным электрическим светом, позволяющим рассмотреть ее наилучшим образом, а в Троицком соборе лавры – ее точную копию в свете цветных лампад и свечей, под пение богомольцев – «Преподобный отче Сергий, моли Бога о нас...», при запахе ладана.

Но в послереволюционные годы на первый план выходила работа по приему ценностей Лавры и их научному описанию. Флоренский так обрисовал обстановку, в

которой приходилось работать: «...в богатейшую сокровищницу русского и всемирного искусства мы, члены Комиссии, вступили как в темный лес, ибо она была не только не изучена, но даже не расставлена удобозримо; мы хорошо помним, как приходилось лазать по приставным лестницам, чтобы рассмотреть ту или иную икону, рыться в тряпье, чтобы извлечь иногда первоклассное шитье, отыскивать в старом ломе любопытные памятники, из пыльных чердаков, заплесневелых чуланов и темных закоулков Лавры вытаскивать портреты, иконы, шитье, посуду и т.п. Вещи первоклассные, делающие честь любому музею, были перемешаны с второстепенными или даже с вещами, стоящими ниже критики, и затем затеривались среди них. Отыскание некоторых вещей, приблизительно доступных теперь обозрению, напоминало извлечение предметов из земли при раскопках, но вместе с тем доставляло и соответственные радости нового открытия».

Уже к сентябрю 1919 года, то есть менее чем через год, научное описание художественно-исторических памятников Лавры было завершено.

В 1921 году художник В.А. Фаворский пригласил Флоренского во ВХУТЕМАС (Высшие художественно-учебные мастерские) на должность профессора специально созданной кафедры «Анализ пространственности в художественных произведениях», где тот читал лекции в течение трех лет. В этот период Флоренским была написана работа «Иконостас, считающаяся одна из самых важных в его творческом наследии. В 1922 году группа художников, разделявших взгляды Флоренского, организовала журнал «Маковец» (по названию холма, на котором стоит Троице-Сергиева Лавра), в котором была напечатана работа Флоренского «Храмовое действие как синтез искусств».

Но вскоре П.А. Флоренский сосредоточился и на других проблемах. Его дочь Ольга, родившаяся в 1918 году, так вспоминала эпизод из раннего детства: «Мама нас, маленьких, мыла в кухоньке, в детской ванночке. Затапливала плиту, ставила на нее огромный чугунок и ведро. Около плиты две табуретки. На них ванночку ставила. И по очереди мыла, начиная с младших. Вот как-то раз она мыла меня, а бабушка (Надежда Петровна Гиацинтова – Т.С.) в это время, лишенная возможности действовать на кухне, вышла на крылечко. Стояла и смотрела на прохожих. Ее заметила группа паломников, и попросились они зайти попить чаю. Бабушка гостеприимная была, провела их в комнату, накрыла стол белой скатертью, а сама побежала ставить самовар.

Мама меня вымыла, расчесала. Надела беленький чепчик и выпустила. И тут я унюхала: что-то в доме не то. Прибежала в комнату и ахнула: на белой скатерти гости разложили снедь, которую мы давно не видели: баранки, сахар, изюм. Сердце мое дрогнуло. Я прислонилась к косяку и заныла:

– Я бенная, голонная, дайте мне покушать.

Брат мой Кирилл долго потом дразнил меня этим: «бенная, голонная». А тогда меня подхватили большие добрые руки, усадили за стол. Налили мне чаю. И около меня оказалась горка этой сверхъестественно вкусной снеди. Я старательно поедала ее с чаем, а что осталось, деловито убрала в карман фартука, сползла со стула, сказала "спасибо" и побежала в сад.

В это время вышел папа и поздоровался с гостями. Оказалось, это был заведующий лабораторией завода "Карболит" в Москве. Они быстро поняли друг друга. И он пригласил папу к себе работать. Так началась его работа в области синтетических смол».

А в 1924 году Флоренский был избран членом Центрального электротехнического совета Главэнерго ВСНХ СССР.

Но каким образом он, священник, богослов, философ, искусствовед, мог работать на «Карболите», а потом в лаборатории материаловедения Всесоюзного электротехнического института? Это был поразительный человек, энциклопедист. С детства он не только созерцал природу, но и «учился у природы, куда старался вырваться, наскоро отделавшись от уроков. Тут я рисовал, фотографировал, занимался, – вспоминал он. – Это были наблюдения характера геологического, метеорологического и т.д., но всегда на почве физики. Читал я и писал тоже нередко среди природы. Страсть к знанию поглощала все мое внимание и время... Мальчиком я делал самостоятельные работы по физике... Моя склонность к техническому применению физики была внедрена во мне отцом...».

В 1900 году Флоренский поступил на физико-математический факультет Московского университета (параллельно посещал лекции и семинары историко-филологического факультета). Окончил университет с дипломом 1-й степени, но отклонил предложение остаться на кафедре математики, предполагая уйти в монашество, «вполне соединиться с Церковью».

И вот в 1920-е годы его первое образование было востребовано. О работе Флоренского в лаборатории электротехнического института написал воспоминания С.П. Раевский. После окончания школы в Сергиевом Посаде он никак не мог найти работы. И вот однажды весной 1925 года через профессора И.Ф. Огнева Флоренский передал матери Раевского, что у него есть место лаборанта. Раевский проработал с Флоренским семь лет.

Он писал: «Хочу особо отметить поразительную работоспособность Павла Александровича и его трудолюбие, чего он требовал и от своих подчиненных... Я не могу не удивляться той движущей силе, которая за пять лет превратила маленькую лабораторию в обширный отдел материаловедения одного из ведущих научно-исследовательских институтов страны. Через пять лет у нас было уже сто с лишним сотрудников. Для загрузки такого коллектива требуется обдумать и правильно поставить тематику исследований, и наряду с этим выращивать молодые кадры... Я могу сказать, что моя дальнейшая трудовая жизнь, которую я считаю удачной, сложилась под влиянием импульса, полученного в годы с П.А. Флоренским...»

Павел Александрович, как и все священнослужители, вплоть до 1929 года не носил штатской одежды. Где бы он ни находился – дома или на работе в советских учреждениях, верхней одеждой служил ему подрясник. Осенью и зимой он надевал темный подрясник из шерстяной ткани, летом – светлый из льняного полотна. Перед выходом из дома он подтягивал подрясник и сверху надевал пальто типа бекеша, зимой суконное, а летом парусиновое. К его одежде все коллеги привыкли, и никого она не смущала...

П.А. Флоренский терпеть не мог папиросного дыма, и мы все, курящие, вынуждены были выходить курить в коридор или на улицу. Один наш знакомый рассказывал, что однажды он провожал Павла Александровича домой и по дороге, остановившись у табачного магазина, извинился и сказал, что ему надо зайти в магазин.

– Идите, я подожду Вас, – ответил П[авел] А[лександрович].

Дело было зимой.

– А, может быть, Вы зайдете на минуту со мной? Ведь холодно.

– Что Вы, я не оскверняюсь, – последовал ответ.

Наш знакомый, придя домой, решил больше не курить. (В письме из Соловецкого лагеря в 1937 году П.А. Флоренский написал, что, как почти все здесь, курит махорку. – Т.С.).

А однажды я принес с собой в лабораторию книгу рассказов Горького, к которому П[авел] А[лександрович] относился резко отрицательно. Каким-то образом эта книга оказалась на лабораторном столе, и Флоренский ее обнаружил.

– Сережа! - довольно строго обратился он ко мне. – Это Ваша книга?

– Да, Павел Александрович, я ее сейчас уберу.

– Ну как это можно, - такие книги вносить в лабораторию?!

Я хотел было взять книгу, но увидел, что П[авел] А[лександрович] уже пытается, обернув руку в халат, подцепить ее. Потом, стряхнув руку как бы от пыли, он взял лабораторные щипцы, подцепил ими мою книгу и, аккуратно положив ее на пол, сказал:

– Теперь уберите ее и никогда сюда подобных книг не носите.

– Хорошо, – сказал я, – но почему Вы так аккуратно положили мою книгу на пол, а не скинули ее?

Павел Александрович ответил:

– Человека можно ненавидеть, но всегда нужно быть с ним вежливым. Так и с книгой».

С.П. Раевский подружился со старшим сыном Флоренского Василием, полюбили Раевского и младшие дети, особенно четырехлетний Михаил, которого все звали Миком. «Я приходил к Флоренским, как правило, каждое воскресенье утром, – писал Раевский, – причем иногда заставал всю семью за утренним чаем. Более всего я любил летние прогулки с Павлом Александровичем и его детьми – Миком и Олей. Несколько раз я сфотографировал их на такой прогулке».

О прогулках с отцом вспоминала и его дочь Ольга Павловна: «Мы с папой часто ходили в Гефсиманский скит, и обычно я обратно ехала на папе – садилась ему на плечо и иногда даже засыпала, положив голову на его голову. Всегда мы останавливались на мосту и смотрели на струйки воды. А Кирилл, мой брат, лазил за вербой - она росла около моста.

Когда шли обратно, вылетала из дупла сова и приносила нам конфетки – их папа незаметно клал по дереву и говорил, что их приносила сова. Мы очень любили это дерево. Не знаю, цело ли оно еще. Это была сосна.

Выше моста был такой бугор – на нем росли баранчики (лесные примулы). Мы их рвали и ели. Теперь они растут у нас во дворе. Папа говорил, что это золотые ключики – они отпирают землю весной»

В мае 1928 года в Сергиеве прошли массовые аресты. Он попал в список из 80 человек, которые, как писал помощник начальника 6 СО ОГПУ, «благодаря своего происхождения, а также положения, занимавшегося ими в дореволюционное время, так и сейчас идеологически были родственны между собой и составляли целую группировку черносотенного элемента, настроенного резко враждебно по отношению к соввласти». Флоренский попал в общий список, его взяли в Москве. Арестованных поместили в Бутырскую тюрьму. Заполняя анкету, Флоренский сделал примечание: «При обыске взяты: жетон Красного Креста, полученный после возки раненых с фронта, и фотографический снимок царской встречи, переданный мне вместе с другими снимками после смерти одного духовного лица».

На допросе он показал: «Фотокарточка Николая II хранится мною как память епископа Антония. К Николаю я отношусь хорошо, и мне жаль человека, который по своим намерениям был лучше других, но который имел трагическую судьбу царствования. К соввласти я отношусь хорошо и веду исследовательские работы, связанные с военным ведомством секретного характера. Эти работы я взял добровольно, предложив эту отрасль работы... С некоторыми мероприятиями соввласти я не согласен, но, безусловно, против какой-либо интервенции, как военной, так и экономической».

Никаких разговоров с кем-либо о тех мероприятиях, с которыми я не согласен, я не вел».

Большая часть арестованных по сергиевскому делу была выслана. Флоренский получил «минус шесть», то есть был лишен права проживать в Москве, Ленинграде, Харькове, Киеве, Одессе, Ростове-на-Дону и соответствующих областях. Он уехал в Нижний Новгород, но благодаря хлопотам Е.П. Пешковой, возглавлявшей организацию по защите политических заключенных, уже в сентябре вернулся домой и, к великой радости сотрудников, продолжил работу в Электротехническом институте и редакции «Технической энциклопедии».

Второй раз его арестовали 25 февраля 1933 года. Через четыре месяца было сострепано обвинительное заключение: «ОГПУ Московской области раскрыта и ликвидирована контрреволюционная национал-фашистская организация, именовавшая себя "Партией Возрождения России". Организацию возглавил руководящий центр в составе профессоров Флоренского, Гидулянова и академиков Чаплыгина и Лузина. Она возникла из фактически уцелевших остатков ликвидированной ОГПУ в 1930 г. монархической организации "Всенародный Союз борьбы за возрождение России", возглавляемой академиком Платоновым и др. Была установлена связь и с белогвардейской эмиграцией и устроено конфиденциальное свидание с Гитлером...». Следствие велось такими методами, что эти фантастические обвинения арестованные подписали.

Флоренский был осужден по этому делу особой тройкой ОГПУ Московской области по статье 58 п.п. 10, 11 на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. 13 августа 1933 года его отправили по этапу в Сибирь, в БАМлаг. Там он работал на Мерзлотной станции в Сквородино вместе с другим сергиевпосадцем – П.Н. Каптеревым, с которым еще начинал работу в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой

Лавры. Вместе они обследовали участок БАМа. Флоренский увлекся новой работой: «Явления мерзлоты чрезвычайно интересны. Не видя их, трудно представить себе их возможность, – писал он в одном из писем. – Поверхность рек, промерзших до дна, вся в буграх, неровностях, трещинах, попадаются целые холмы из льда. У нас, например, в Посаде, ничего подобного не встретишь. Лед – разных цветов: синий на перевале, где вода особенно чиста, бирюзовый ниже, еще ниже – аквамариновый, местами изумрудный...».

В Забайкалье Флоренский встретился с орононами – малой народностью, проживающей в той местности, заинтересовался ими. Стал изучать их язык, собирался создать словарь, грамматику и учебник языка. И тогда же начал писать поэму «Оро» («оро» по-орочонски значит «олень» – так Флоренский назвал мальчика, героя поэмы) Поэма была посвящена сыну Мику (Михаилу).

Флоренский очень скучал по семье. «Каждого из вас я мысленно помногу раз в день представляю себе и ласкаю, как могу, и по каждому сердцу болит по- своему...» – писал он домой 18 марта 1934 года. А дома горе: конфискованы все книги, даже детские. Анна Михайловна писала мужу: «Олю обобрали всю, только ноты пока остались. Даже поливановское издание Пушкина взяли, хотя я пыталась доказать, что нужно для проработки в школе. "Ну вот еще, Пушкина проработывать в школе – он запрещен – я сам был исключен из института за Пушкина", – было мне ответом. Мик плакал громко. Знаешь, как он плачет с каким-то жалобным писком. Книги старших мальчиков тоже взяли. "Мне нет дела, чьи книги. Сказано – книги, и кончено..."».

Все это очень тяжело. Страшно представить наш дом без книг – дети, словно потерянные. Я первое время была в отчаянии. Теперь понемногу примиряюсь. Тебя нет с нами, а уж книги – второе. Пусть будет, что нужно».

Летом 1934 года Анне Михайловне удалось получить разрешение на поездку к мужу с тремя младшими детьми – Олей, Миком и Тикой. Но вскоре после этого Флоренского неожиданно перевели в Соловецкий лагерь. Работа по изучению мерзлоты осталась незаконченной, не осуществилось и намерение создать словарь ороchonского языка. Новое место было воспринято Флоренским как хаос – людской и природный, все окружающее воспринималось им, как во сне.

«Стихов мне писать не приходится, написал лишь один отрывок за все это время. Условия для писания слишком неподходящие, как внешне, так и внутренне. Вообще, мне приходится здесь очень плохо во всех отношениях». (письмо от 5 ноября 1934 года). «Помнишь ли "Путешествие вокруг Луны" Жюль Верна? – писал он жене 2 мая 1935 года. – Так вот и я чувствую себя, особенно в эти последние дни, как будто лечу в ядре среди безвоздушных пространств, отрезанный от всего живого, и только вас вспоминаю непрестанно».

Но через некоторое время Флоренский погрузился в работу с морскими водорослями, из которых получают агар-агар (сырье для кондитерской промышленности, похожее на желатин). «Я сижу всецело в водорослях. Эксперименты над водорослями, производство водорослевого, лекции и доклады по тем же водорослям, изобретения водорослевые, разговоры и волнения – все о том же, с утра до ночи и с ночи почти до утра. Складывается так жизнь, словно в мире нет ничего, кроме водорослей» (письмо от

23 марта 1936 года). Он зарисовывал водоросли и посылал рисунки в Загорск, просил показать их В.А. Фаворскому – «может быть, он найдет какие-нибудь интересные для орнамента».

Через два года производство агар-агара из водорослей было налажено. Флоренский так обрисовал его в письме от 23 февраля 1937 года: «Вообрази сводчатые помещения, с каменными столбами, толстыми стенами XVI века. Они все заставлены и загромождены чанами всех калибров, от 4 куб. метров до 200 литров емкостью, подмостками, лестницами, водо- и паропроводными трубами. В одних чанах – мойка, льются потоки воды днем и ночью, в других идет варка, из них подымается пар, заполняющий густым туманом все помещение. Вертятся барабаны для сушки, мотор, извиваются ремни. Всюду ковши, ведра, сетки и щиты для сушки агара. Временами приносят на носилках груды водорослей – анфельции, загружают в чаны. Все рабочие озабоченно бегают от установки к установке, кто переливает горячий агаровый бульон, кто разливает по корытам, кто снимает агаровую пленку с барабана, кто режет агаровый студень на ломтики. Люди – со всех концов Союза, всяких национальностей – кроме русских и украинцев с белорусами, армяне, турки, кого только нет, есть даже чеченец, еле плетущий русскую речь...».

«Последнее время живу бешеным производственным темпом, ничего не поспеваем, хотя напрягаем все силы настолько, что порою кажется: вдруг изнеможем. Как видишь, и уединенный остров не спасает от вихря исторической жизни. Расчленение времени на дни и ночи давно утратилось, и вся жизнь идет, хотя и стремительно до головокружения, однако монотонно... Естественно, что в такой обстановке нет и минуты для того, чтобы обдумать или даже осознать действительность. Скорей и побольше, побольше и скорей – вот единственное, что стоит в голове...».

Хотелось бы научить, чему могу, детей, собственная же деятельность меня не влечет, и предпочел бы оставаться со своими мыслями в уединении» (письмо от 23 марта 1937 года).

Он писал письма жене и матери, и каждому из своих детей – разрешалось писать в разное время от одного до четырех писем в месяц. Удивительно разнообразна их тематика: о Скрябине и Чайковском – дочери Ольге, занимавшейся музыкой, о вулканических извержениях, строении гипса, об электрических методах исследования твердых тел – сыну Василию, о реликтовых известковых водорослях и теории относительности – Кириллу, о войнах в Англии в XIV веке – Мику, о том, что в пушном хозяйстве на Соловках держат кошек и собак для выкармливания детенышей лисиц – маленькой Тике. Он просил жену делать детям вкусную еду: «...есть надо только то, что по вкусу, иначе еда будет мало полезна. Поджаривай хлеб, помажь его немного сыром, посыпь укропом – это будет приятный завтрак, не требующий возни и хлопот».

Несмотря на загруженность монотонной работой, о которой он писал несколько раз, несмотря на какую-то внутреннюю тревогу, как оказалось, не напрасную, Флоренский порой мог ощущать красоту природы. 4 апреля 1937 года он писал: «Вчера я прошел немного по снежному полю. Под закатным солнцем снег был словно осыпан лепестками роз. Четко намечались волнистые контуры снеговых наслоений – мною любимые...».

Снежная поверхность была испещрена следами живых существ – отпечатками лапок каких-то птиц, с тянущимися бороздками от хвоста, ямочками зайцев, еще каких-то зверей. Небо, как нередко на Соловках, горело всеми цветами. Я почувствовал, как мне недостает природы, и как отвратительно производство, всегда мне чуждое... Вообще же у меня определено развивается нежелание печататься и жить в уединении и глуши».

Последнее письмо с Соловков написано Флоренским 19 июня 1937 года. Больше писем не было. А.М. Флоренская пыталась узнать о судьбе мужа. Обращалась в НКВД Е.П. Пешкова, возглавлявшая политический Красный Крест. Только в 1939 году семья узнала, что Флоренский был отправлен из Соловков в Ленинградскую область и 25 ноября 1937 года Особой тройкой приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 8 декабря того же года.

Анастасия Цветаева писала: «Отец Павел Флоренский в течение 2-х недель, час за часом ждал смерти, но это его тайна с Богом, тайна между Богом и им, и я отступаю в молчанье».

20 июля 1990 года на доме №19 по Пионерской улице в Сергиевом Посаде Советским фондом культуры и Комиссией по творческому наследию П.А. Флоренского была открыта мемориальная доска с надписью: «Здесь с 1915 по 1933 год жил русский ученый и мыслитель священник Павел Александрович Флоренский». В Москве создан музей-квартира священника Павла Флоренского.

Священник Сергей Сидоров и его семья

Вспоминаю я и жизнь в Сергиеве, как прошедший ясный сон.

Нигде так не любили меня, как в Сергиеве, нигде не встречал я таких светлых и глубоких людей, как живя там.

Я глубоко привязался и к храму Петра и Павла и доныне скорблю о нем, но, видимо, мне не судил Бог жить у Преподобного.

*Из письма о. Сергия Сидорова
о. Михаилу Шиду, 1927 г.*

Поздней осенью 1923 года отец Сергей (1895–1937) с семьей приехал в Сергиев, где ему было предоставлено место священника в храме Петра и Павла, что расположен рядом с Уточьей башней монастырской стены. «Поселился он с семьей, – писала его дочь Вера Сергеевна Бобринская, – почти рядом с церковью на Большой Кокуевской улице в маленьком деревянном домике с терраской (дом 29). Такие дома составляют всю левую сторону улицы, они мало изменились за прошедшие семьдесят лет. Палисадники, заросшие сиренью; в садиках старые яблони и сливы раскинулись среди ухоженных зеленых грядок. Да и сама Большая Кокуевская улица с зеленой гривой по обочинам дороги, с высокими тополями и липами до сих пор являет собой образчик тихого провинциального уголка, что еще сохранился так близко от Москвы».

Вера Сергеевна не могла помнить Сергиев того времени – ей было 7 дней, когда арестовали ее отца, священника Петропавловской церкви о. Сергия Сидорова, и семья вскоре вынуждена была покинуть город. Но она приезжала сюда через полвека, когда составляла жизнеописание своего отца, чтобы увидеть места, где он жил. (Оно было издано вместе с записками о. Сергия Сидорова в 1999 году). На основании этих материалов и сведений, почерпнутых во время бесед с Верой Сергеевной, и написан этот очерк.

Перед самой революцией на высочайшее имя поступило прошение о передаче Сергею Сидорову титула и фамилии князя Кавкасидзе с целью восстановить угасший род грузинских князей – матерью С.А. Сидорова была Анастасия Николаевна, урожденная княжна Кавкасидзе. Но прошение не было удовлетворено, и у Сергея Алексеевича осталась фамилия его отца-разночинца.

Рождение мальчика стоило жизни его матери. Троих осиротевших детей взяла на воспитание незамужняя тетка, Варвара Николаевна Кавкасидзе, посвятив им всю свою жизнь. Заботы о детях разделила ее подруга, Вера Ивановна Ладынина, тоже незамужняя, бывшая горбатой после перенесенного в детстве туберкулеза позвоночника. Ее Сережа с детства и до самой ее кончины называл мамочкой.

Детство Сергея Алексеевича прошло в небольшом имении тетки Николаевке – в Курской губернии. В доме царил атмосфера непринужденности и простоты. Любовь к

живописи (Варвара Николаевна была художницей) и музыке, интеллектуальные занятия были на первом месте. «В Николаевке рай земной», – писала сестра Сергея Ольга. Прекрасный липовый парк, где пели соловьи, два пруда, в которых купались дети, масса цветов... И детям, и домашним и диким ручным животным было тепло и уютно в усадьбе».

Но пришло время учиться, и Сережу привезли в Москву. Он впоследствии вспоминал: «С семи лет, то есть со времени моего приезда в Москву, я не пропустил ни одной торжественной церковной службы. Звоны Кремля, мгла ранней обедни, золотые ленты крестных ходов всегда привлекали меня, и я любил теряться в толпе, ожидая приезда Иверской, и простаивать долгие ночные моления у Пантелеймона в часовне».

С семи лет ребенок страдал от сильных болей в ногах – у него было заболевание спинного мозга. Болезнь то утихала, то обострялась в годы детства и юности. «Боль спины, рук и ног, – писал он, – тяжелая бессонница заставляли меня ходить по улицам, площадям и переулкам, пока звон к ранней обедне не призывал идти в какую-нибудь церковь, и служба несколько успокаивала боли, после чего я возвращался обратно домой».

Сергея Сидорова окружали друзья – его любили за остроумие, живость, за доброжелательное отношение к людям. Особенно близко сошелся он с Сергеем Николаевичем Дурылиным, тот водил его на теософские собрания, на лекции о Павла Флоренского, на свои чтения, на доклады о Иосифа Фуделя в религиозно-философском обществе имени Владимира Соловьева. Сын о. Иосифа Сергей Фудель вспоминал: «Сережа Сидоров тогда был юноша с курчавой черной головой и красивыми восточными глазами... Сережа ни в каком высшем учебном заведении не учился, но был по-своему образован и самобытен. Он хорошо знал русскую поэзию, мемуарную литературу и русскую историю, и в этой истории его любимым веком был восемнадцатый. Он был романтик, но романтика как-то легко и просто уживалась в нем с глубоким церковным чувством».

В декабре 1916 года Сидоров впервые побывал в Оптиной пустыне и стал духовным сыном старца Анатолия. В последний раз он приехал в Оптину в сентябре 1917 года. Из «Записок Сергея Сидорова»: "Осень метила деревья лиловым золотом, трава приняла цвет осенних зарниц, кричали чечетки, остро свистели синицы. У Святого колодца теплый запах земли с едва приметной тленью старого сруба. Я любил, лежа на траве, вдыхать его и думал о счастье, о жизни, о радости, следя за быстрым летом изменчивых облаков по темно-синему небу. Звонили к покровской всенощной. Пунцовые лучи вместе с первым заморозком оседали на соснах. Розовели далеко у самого края обрыва купола козельских церквей, и отсвет их заревых пожаров ложился на дорогу. По дороге шли богомольцы. Они пели молитвы, и звуки святых песнопений переходили в гулкие вечерние звоны...

Сутолока станции противна после тишины лесной. Толпа, давка, красные плакаты. Еле выбрался из толчеи зала третьего класса. Ждал поезда, отчего-то давали билеты, хотя почти невозможно было сесть в вагоны, переполненные желто-серой ругающейся толпой. Люди лежали на земле, слонялись среди оранжевых далей осенних полей, толпились на всех ступеньках станционных строений. Какие-то самодовольные хвастливые пареньки

бегали по платформе и кричали о близком перевороте: было начало октября 1917 года. А паровозы гудели, и звонили тревожно звонки в дырявой станционной двери».

Вскоре Сидоров уехал из Москвы в родную Николаевку. Но в селе становилось все тревожнее. Появились банды. Помещиков убивали. И в конце декабря 1918 года он вместе с тетей и Верой Ивановной (мамочкой) уехал из имения в Киев. Накануне отъезда их полностью ограбили.

В Киеве Сергей Алексеевич осуществил свое желание посвятить жизнь служению Церкви, поступил в Киевскую Духовную академию и успел окончить два курса. Весной 1920 года он женился на Татьяне Петровне Кандибе из старинного украинского рода.

К этому времени Сергей Алексеевич потерял отца. Алексей Михайлович Сидоров был юристом, членом коллегии областного суда в Харькове. После революции он потерял работу, очень страдал от голода и холода. Перед наступлением на Харьков Деникина большевики арестовали всех членов суда и других, уважаемых в городе граждан и держали в качестве заложников в Орловской тюрьме. Крайне тяжело читать письма Алексея Михайловича из тюрьмы. Он просил старшего сына Алексея, который был известным искусствоведом, помочь, похлопотать. Алексей Алексеевич пытался добиться освобождения отца, но безуспешно: отношение к интеллигенции у большевиков было таким же, как и к буржуазии. Один из руководителей ВЧК, М. Лацис, писал в октябре 1918 года в журнале «Красный террор»: «Нет нужды доказывать, выступало то или иное лицо против Советской власти. Первое, что вы должны спросить у арестованного, это следующее: к какому классу он принадлежит, откуда он происходит, какое воспитание он имел и какова его специальность? Эти вопросы должны решить судьбу арестованного».

Добиться освобождения А.М. Сидорова не удалось. Вышел приказ – расстрелять заложников. Накануне вечером им разрешили пойти в церковь. Утром 10 сентября 1919 года расстреляли.

В Киеве в 1920 году царил голод. Найти работу было невозможно. В семье работал один Сергей Алексеевич – в одном из отделов Киевского губсобеса. В сентябре 1921 года он принял сан священника и получил приход в селе Почтовая Вита под Киевом. Прихожане любили молодого священника. Но жить было по-прежнему трудно. Очень болела Варвара Николаевна. Ее отвезли в Киев, там она и умерла в мае 1922 года. Отец Сергей страдал не только от неустройства жизни, но и от тревожных событий в церковных делах: в то время произошел раскол Украинской Церкви. Ему не с кем было общаться в селе, скучала и жена. И Сергей Сидоров уехал сначала в Киев, а осенью 1923 года в Москву и получил место в Сергиевом Посаде.

Там в то время жило большое количество известных аристократических семей. Отец Сергей еще до революции был знаком со многими из них. В Посаде он бывал в семьях Истоминых, Комаровских, Огнёвых. Из воспоминаний С.П. Раевского: «Мне трудно сейчас объяснить, чем именно привлекал нас к себе этот молодой священник. Но он с самого начала знакомства с ним всех нас буквально очаровал. Было что-то притягательное в его красивом, благородном, одухотворенном лице. Мы искренне полюбили его. Всякий раз радовались его приходу, обожали слушать его рассказы, иногда кажущиеся фантастическими и вместе с тем естественными, реальными. И, несмотря на

то, что в Сергиеве было много почитаемых светских и духовных лиц, отец Сергей очень скоро оказался особо почитаемым верующими священником не только своего прихода, но и всего города. Многие семьи желали знакомства и ним, и он, посещая их, оставлял неизгладимый след...

Отец Сергей не получил специального образования, и весь запас своих знаний в области литературы, философии, богословия и других дисциплин он накопил путем самообразования и общения с высокообразованными людьми. Будучи высокообразованным человеком, о. Сергей легко заинтересовывал слушателей, в особенности любознательных, своими увлекательными и проникновенными рассказами на самые различные темы. Беседы касались литературы, истории, искусства и многих других вопросов, относящихся к духовной жизни человека, его поведению в обществе и индивидуальным качествам. Он убедительно прививал нравственные устои юношеству, мог с большим интересом толковать Евангелие и наряду с этим уводить слушателей в мир неразгаданных тайн природы».

В Посаде о. Сергей обрел друзей – Сергея Павловича Мансурова и Александра Ивановича Огнёва. Его духовником стал старец Гефсиманского скита о. Порфирий.

Не сразу решился он побывать у известного на всю страну старца Зосимовой пустыни Алексия, жившего после закрытия пустыни в Сергиевом Посаде. Старец был болен и слаб. Но летом 1924 года о. Сергей попросил разрешения посетить его. Старец успокоил молодого священника, недовольного своей деятельностью, порой тревожно и неуверенно чувствовавшего себя с людьми, искавшими его духовничества. А однажды старец сам призвал о. Сергия к себе. Вот как вспоминал эту встречу о. Сергей:

– Вот вам приказ. Исполните его, если меня любите. Возьмите к себе Михаила Владимировича Шика в заштатные диаконы, вы его знаете.

– Знаю, – отвечал я, – и горячо люблю и уважаю, но он еврей, и я боюсь, что мои прихожане, зараженные ненавистью к евреям, не захотят его принять.

– Не говорите мне этого, – прервал отец Алексей, – это безумие – ненавидеть евреев. Ненависть всякая – грех, а ненависть к народу Божию, пришедшему ко Христу, есть ничем не оправдываемый грех. Ваше дело убедить прихожан... Я вам заповедаю всегда быть близким с Михаилом Владимировичем. Вам завещаю после смерти моей сказать всем моим знакомым, что Михаил Владимирович мой любимый духовный сын...

Я попросил благословения старца и вышел от него с несколько тревожными мыслями. Зная и глубоко почитая Михаила Владимировича как одного из самых светлых и достойных христиан, я недоумевал, как мне удастся побороть мысли моего приходского совета...».

И все-таки о. Сергию удалось выполнить приказ старца. Исполнена была и заповедь старца – о. Михаил стал близким другом о. Сергия, а его жена, княжна Наталья Дмитриевна Шаховская – другом семьи о. Сергия.

В 1927 году в письме о. Михаилу Шик о. Сергей писал: «Вспоминаю и я жизнь в Сергиеве, как прошедший ясный сон. Нигде так не любили меня, как в Сергиеве, нигде не встречал я таких светлых и глубоких людей, как живя там. Я глубоко привязался и к храму Петра и Павла и доньше скорблю о нем, но, видимо, и мне не судил Бог жить у Преподобного».

Время служения о. Сергия в Петропавловской церкви (1923–1925 годы) было трудным для Русской Православной Церкви. В 1922 году произошел обновленческий раскол. Инициативная группа, возглавляемая протоиереем А. Введенским образовала ВЦУ (Высшее Церковное Управление) и заняла Троицкое подворье в Москве. Патриарх Тихон был удален оттуда и перевезен в Донской монастырь, где более года содержался под строжайшим домашним арестом. Митрополит Вениамин (Казанский) обратился к верующим с посланием, направленным против обновленческого раскола, и отлучил от церкви А. Введенского, В. Красницкого и еще нескольких священников, возглавивших так называемую «Живую Церковь», за что был расстрелян. Часть духовенства присоединилась к раскольникам, демонстрировавшим преданность советской власти, их стали называть обновленцами.

Разделение Православной Церкви на патриаршую – «Тихоновскую» и обновленческую сказалось и в Сергиевом Посаде. О. Сергей был одним из тех, кто всецело поддержал Патриарха Тихона. Из «Записок о. Сергия»: «У меня родилась мысль пригласить в Сергиев Посада святейшего (Патриарха Тихона – Т.С.), чтобы его приездом укрепить там православных и заставить колеблющихся пастырей раз и навсегда порвать с красной ересью. Я полагал, что взрыв энтузиазма верующих, возбуждаемый пребыванием Патриарха, образумит всех, задумывающихся о возврате в Сергиев красной церкви, и навсегда прекратит поползновения епископа Стручинского учредить себе базу в Сергиеве. Для этого я собрал из числа наиболее достойных и почетных членов Петропавловского совета депутацию к святейшему, которая должна была поднести ему хлеб-соль на замечательном блюде, а также панагию резную, и просить его пожаловать к нам в назначенный день для богослужения. Святейший принял нас милостиво, поблагодарил депутацию за хлеб-соль и за панагию и обещал служить в нашей церкви на осеннего Сергия, 25 сентября».

При встрече 19 сентября 1924 года Патриарх дал о. Сергию список лиц, которых надо было пригласить для совместного с ним богослужения и сказал: «Береги себя. Я очень боюсь, что из-за моего приезда тебя заберут. Ты знаешь, если тебя арестуют, мне будет очень тяжело. Никто не знает, кроме Бога, как тяжело знать, что из-за меня страдают люди по тюрьмам и высылкам».

Как и предчувствовал Патриарх, о. Сергия арестовали как раз перед его посещением города. Пробыл о. Сергей в Бутырской тюрьме около двух месяцев, потом его отпустили под подписку о невыезде.

Седьмого апреля 1925 года Патриарх скончался (о. Сергей оставил воспоминания о его похоронах). По его завещанию Местоблюстителями Патриаршего престола были назначены митрополиты Кирилл (Смирнов), Агафагел (Преображенский) и Петр (Полянский). Но митрополиты Кирилл и Агафагел находились в ссылке и потому не могли воспринять должность Местоблюстителя. И Русскую Православную Церковь возглавил митрополит Петр. Вскоре его арестовали, так как властям были известны его твердые убеждения и бескомпромиссность в духовных вопросах. Вместе с митрополитом Петром была арестована большая группа духовенства, всего 42 человека. В их число вошли и о. Сергей Сидоров и о. Михаил Шик. Их обвиняли в укрывательстве и пособничестве

церковным деятелям. Кроме того, у о. Сергия нашли при обыске синодик, в котором были записаны для поминовения император Николай II и его дети.

О. Сергей очень страдал в тюрьме: возобновились боли в ногах, руках и позвоночнике. Его положили в тюремную больницу. Он мучился бессонницей, у него возникали галлюцинации. Следователь грозил арестом всей семьи (у о. Сергия было трое детей).

Помог о. Сергию также сидевший в Бутырке епископ Николай (Добронравов), запретивший ему властью епископа говорить что-либо следователю.

Обвинение ему было предъявлено по ст. 58, получил он «минус шесть» на три года. В августе 1926 года он вместе с семьей уехал во Владимир. Через некоторое время ему дали приход в селе Волосове под Владимиром. Приход был очень бедным. Болели дети, умер старший сын. Переболел тифом сам о. Сергей. Смертельно заболела Вера Ивановна (мамочка). Душевное состояние о. Сергия было тяжелым: он был оторван от друзей, чувствовал себя одиноким. Поддерживали его письма о. Михаила Шика, который в ссылке был рукоположен в сан священника.

В течение трех лет о. Сергей не имел права выехать из Владимирской области. Только в начале 1929 года он смог перебраться в Московскую область, получив приход в селе Лукино Серпуховского района.

Татьяна Петровна ждала ребенка. Подошло время родов, и она поехала в Москву. В.С. Бобринская писала: «Сильная февральская метель обрушилась на столицу, был уже поздний вечер. На вокзале Татьяна Петровна взяла извозчика – это был старик с седой бородой, одетый в тулуп, – и попросила его ехать в ближайший родильный дом: у нее уже начались схватки. Старик, человек опытный в житейских передрягах, быстро подъехал к близлежащему родильному дому, слез с саней и повел Татьяну Петровну в приемный покой. Там прежде всего потребовали документы: "Кто муж? Священник?! Жен попов не принимаем!" Старик молча отвел Татьяну Петровну в сани и поехал к следующей больнице. И там повторилась та же история. Тогда извозчик плюнул и сказал: "Ну и пакостные у нас порядки! Где это видано, чтобы бабу не принимали родить! Повезу-ка я тебя сейчас к себе домой, и моя старуха примет твоего ребенка". А Татьяна Петровна уже и говорить не могла от сильных болей и чувствовала, что вот-вот родит прямо в санях. Было уже за полночь, когда они проезжали мимо освещенного здания, в котором оказался медицинский институт, где изучали способы обезболивания родов. В последний раз старик, кряхтя, слез с саней и пошел уже один в приемный покой. О, радость! – у него даже документов не спросили. Выбежали нянечки, подхватили Татьяну Петровну и только успели довести ее до родильной палаты, как у нее родился крепкий мальчик Алексей».

В феврале 1930 года о. Сергия опять арестовали. Следствие не нашло фактов, дававших основание для его привлечения к ответственности. Но, «принимая во внимание, что Сидоров С.А. разными методами антисоветской деятельности разлагающе влияет на население и тормозит общественную работу, то есть является социально вредным человеком», он был приговорен ОСО при коллегии ОГПУ в Серпухове к трем годам лагеря.

Семье, в которой тогда было четверо детей, пришлось очень трудно. Из села, опасаясь ареста, Татьяна Петровна была вынуждена уехать. Жили в деревне. Были лишены избирательных прав. Татьяну Петровну, как лишенку, уволили из конторы, где

она было устроилась. Потом ее взяли на работу почтальоном. Вера Сергеевна описывает такой случай: «Помню солнечный мартовский день – мне было тогда шесть лет. Мы с мамой идем по широкой деревенской улице. У меня веселое настроение, и я, подпрыгивая, кружусь около мамы. Навстречу идет девочка моих лет, угрюмая и злая дочь председателя сельсовета. Она нас ни с того, ни с сего толкает меня в снег, да еще и ударяет ногой. Я была крепким и сильным ребенком и в таких случаях давала сдачи обидчику. Так и тогда я вскочила и хотела стукнуть девчонку. Но мама каким-то странным взглядом удержала меня, и мы пошли дальше. "Вера, ведь мы лишенцы, – сказал мама, – и если бы ты толкнула эту девочку, то ее отец мог бы снять меня с работы. Только из милости он держит меня, из-за детей". Тихонько шли мы по сверкающей мартовским солнцем улице, и темный страх бессилия перед несправедливостью и злыми чужими людьми впервые закрался в мою душу».

Конечно, прожить на зарплату, которую получала Татьяна Петровна, было невозможно. Помогали московские друзья и родственники. И все равно жили голодно. «Я не могу придти в себя от вчерашнего посещения Тани, – писала Ольга Алексеевна, сестра о. Сергия. – Алеша ночью проснулся с плачем: "Дай, мамочка, хлеба!.." Леля тоже вечером тихо плакала и просила хлеба. Таня ей довольно резко сказала: "Говорю тебе, ложись спать, тогда есть не хочется". Танечка заснула раньше, а Боря целые дни мрачно молчит».

Боря как раз пошел в первый класс. В классе висела большая диаграмма в виде круга, в котором секторами был показан социальный состав учащихся: красный сектор – дети рабочих, синий – крестьян, зеленый – служащих и тоненький черный сектор (один ученик) – лишенец. Это был Боря. «Я смотрю на фотографию первого класса, где Боря, худенький мальчик, робко смотрит из заднего ряда шаловливых деревенских ребят, – писала Вера Сергеевна. – Старшего, любимого сына отца Сергия, сломало это положение парии в обществе».

А о. Сергий попал в лагерь у станции Пинюг, в 150 км от Котласа. Работал на строительстве дороги, в отряде, возводившем мосты, валил лес, обтесывал бревна для копра. Потом его перевели на более легкую работу – ухаживать за свиньей начальника лагеря.

В письмах домой он писал, как соскучился по дому, справлялся о детях, о знакомых и просил прислать жиров для лечения ран на ногах. И в то же время отмечал, среди какой природы приходится ему работать: «...Сейчас работаю физически, тяну копер среди удивительно красивого леса (письмо уже из другого лагеря – Мариинского, 1923 год). Свистят красногрудые птички, щелкают соловьи, много замечательно красивых цветов. Тоска моя растет о вас, любимые, очень тоскую без доброго для меня дела. Не знаю, увижу ли тебя, Таня, будет ли это счастье. Хлопочу в тюрьме о свидании, хотя, кажется, свидание несколько затруднительно. Сменяется здесь погода часто: то жаркий весенний день, то снежная буря. Третьего дня целый день шел снег, разводили костер, а птички грелись вместе с нами у него и садились к нам на руки. Сегодня я видел черного, похожего на ласку, зверька, появились большие желтые бабочки и махаоны...».

И вот кончился срок. С.П. Раевский пишет в своих воспоминаниях о встрече с о. Сергием в 1933 году: «Как-то вечером мы с братом Михаилом и сестрой Еленой сидели дома, раздался звонок. Я пошел открыть дверь, и передо мной оказался человек, имевший вид арестанта, в бушлате, простых брюках и сапогах. Лицо поразительно знакомое, но на нем отпечаталось что-то тяжело пережитое. В то же мгновение я узнал отца Сергия... Мы сидели продолжительное время, пили чай, разговаривали. У меня осталось впечатление, что отцу Сергию жизнь в лагере была особенно тяжела из-за богохульной ругани, которую он там слышал на каждом шагу... Он со смирением рассказывал, как его однажды приставили дневальным к оперативнику с большим чином. Этому мерзавцу доставляло удовольствие обругивать дневального за недостаточно хорошую чистку сапог».

Отцу Сергию въезд в столицу и проживание Московской области были запрещены, но он не мог не повидать друзей.

После освобождения он получил приход на окраине города Муром в Владимирской области. Семья жила в селе Карачарове. Самую слабенькую девочку – Татьяну – взяла к себе сестра отца Сергия, Ольга Алексеевна. Веру и Алешу отдали в детский сад. Но скоро детей велели забрать оттуда – воспитательница обнаружила у Веры христианские взгляды.

А о. Сергей чувствовал себя снова очень одиноким – рядом не было культурных, духовно близких ему людей. Исключение составляла семья Федора Алексеевича Челищева, его знакомого еще по Сергиеву Посаду.

Храмы в Муроме закрывались, положение о. Сергия было непрочным. Большой духовной поддержкой были письма о. Михаила Шика и его жены, живших в Малоярославце. Помогали они и посылками – продукты, одежду и обувь для детей посылала Наталья Дмитриевна Шик-Шиховская, сама имевшая пятерых детей.

Татьяна Петровна страшно уставала: она работала на фанерном заводе. Дороги в Карачарове во время дождей превращались в непролазную грязь – трудно было дойти до места работы. А там надо было толкать вагонетку, подсовывать листы фанеры под пресс. Особенно тяжелы были ночные смены. Ведь днем дома надо было топить печь, носить воду из-под горы, кормить детей.

В начале лета 1935 года Сидоровы переехали в Муром, где сняли комнату в доме у одной вдовы. Как-то придя домой, Татьяна Петровна застала там вора. Он был так смущен бедной обстановкой комнаты, что сконфузился и стал утешать хозяйку: мол, не надо бояться, все устроится...

Церковь, где служил о. Сергей, закрыли. Он получил назначение в другой приход – в пятидесяти километрах от Мурома. Жил там, в отрыве от семьи, в сторожке. И по вечерам, при свечке, стал писать записки-воспоминания о людях, которых знал; о встречах с замечательными иерархами и подвижниками Русской Православной Церкви, исследование о странничестве и о встречах со странниками. Эти записки, написанные карандашом, мелким неразборчивым почерком, были разобраны его дочерью, Верой Сергеевной и опубликованы в 1999 году.

Наступил 1937 год. О. Сергей лишился своего последнего прихода. Но он не мог жить, не совершая литургию. Стал ездить в Москву и к о. Михаилу Шик в Малоярославец,

где были тайные домовые церкви. Понимал, что ареста не избежать. И когда жена умоляла его не ездить в Малоярославец, грустно и спокойно отвечал, что судьба его решена.

Арестовали о. Сергия 13 апреля 1937 года. Жене разрешили его проводить. Встречные раскланивались, еще не понимая, что происходит.

Дочь его Вера потом написала такие стихи:

*Этот день нам судьбой отмерен,
С каждым годом ясней в дали...
Ты вошел и сказал растерянно:
– Таня, за мной пришли.
Мама метнулась. Скорей, скорей,
Вот кружка, сундук открыт.
Среди детских рубашек и простыней
Уж давно узелочек лежит.
.....
И рядом шли, встречали знакомых,
Дорога эта последней была...
Четверо нас оставалось дома,
Пятого мама ждала.*

О. Сергия обвинили в том, что он «являлся активным участником контрреволюционной нелегальной монархической организации церковников – последователей “Истинно Православной Церкви” и руководителем Владимирского, Муромского и Киржачского филиалов этой организации, принимал участие в нелегальном совещании церковников в Москве, где выступал с контрреволюционными предложениями об объединении всей православной Церкви на борьбу с Советской властью».

На фотографии из следственного дела о. Сергия узнать трудно: обрита голова, острижена борода. Но главное – глаза, глаза человека, ждущего смерти.

По этому делу было расстреляно 27 сентября 1937 года восемь человек, в том числе два друга – о. Сергей Сидоров и о. Михаил Шик.

А семья о. Сергия голодала. Через три месяца после ареста мужа Татьяна Петровна родила сына – Сережу. В то время она работала регистратором в больнице, получала ничтожную зарплату, одновременно училась на курсах медицинских сестер. Иногда она совсем падала духом. Ее дочь Татьяна рассказывала: «Мама не человек, а тень. Она нам говорит: “Я покончу с собой, тогда вас всех разберут, вам не придется больше голодать”».

Окончив курсы, Татьяна Петровна, чтобы прокормить семью, устроилась медсестрой на две смены – в медпункте и потом еще в поликлинике. Три ставки, восемнадцать часов в день почти без выходных и отпусков. А Сережа, младший, был таким нервным ребенком, что в ясли его не приняли: стоило спустить его с рук, как он начинал кричать. Так и вырос на руках в буквальном смысле. Сестра Вера держала его на руках и языком перелистывала страницы учебника – была первой ученицей в классе.

Приходил из школы брат Борис, – нарочно учились в разные смены – брал ребенка на руки он.

О Татьяне Петровне во время войны люди думали, что она из блокадного Ленинграда. Спала, скорчившись, на маленьком сундуке.

– Мама, зачем ты спишь так? – спрашивала Вера. – Постели на полу.

– Я сплю так, чтобы не проспать.

Спала она три–четыре часа в сутки. Почти не ела, только пила горячую воду. И вырастила детей. Дети не были ни пионерами, ни комсомольцами. Никогда не отступались от отца, от веры, но умели молчать. И все получили высшее образование.

Борис поступил в Лесной институт, но началась война, и он пошел на фронт, в пехоту. Был тяжело ранен в лицо. После войны остался в звании капитана. Заочно окончил Лесной институт, работает лесничим на Украине. Горными инженерами стали Вера, Алексей и Сергей. А Татьяна (р.1927) получила гуманитарное образование, работала редактором.

Их мать, страшно исхудавшая, надорвавшаяся на непосильной работе, жила, пока оставалась маленькая надежда, что муж жив – ведь семье сообщили приговор: «10 лет без права переписки». Весной 1956 года она получила известие о смерти и реабилитации отца Сергея и вскоре скончалась.

Последние годы она прожила без нужды: ее дочь Вера, несмотря на тягу к гуманитарным наукам, стала горным инженером, что давало большие средства к существованию, чем гуманитарные специальности. Вера помогла окончить институт и младшему брату. Но проявлялась склонность к искусству, к поэзии, полученная от отца. Ее стихотворения были изданы отдельной книжкой (Стихи графини Веры. М., 199?). Вот одно из них.

РОДИТЕЛЯМ

*Бесконечность тревог и разлуки
Не подвластна прошедшим годам,
Лишь во сне мы целуем вам руки
И во сне мы печалимся вам.*

*Может быть, потому мы не в силах
Горечь в сердце с годами унять:
Нам не плакать на ваших могилах
И цветов нам на них не сажать.*

*Только ломкий багульник пахучий
Расцветает там поздней весной,
Только низкие серые тучи
Тихо плачут осенней порой.*

*Да под ветром лишь листья кружатся
Средь безмолвной глухой тишины.
До тех мест нам никак не добраться,*

Где вы видите вечные сны.

*Имена ваши дали мы детям,
Устояли в войны грозный час.
Если мы перед вами в ответе,
Что, скажите, вы ждете от нас?*

...Только через несколько лет Вера Сергеевна узнала место гибели отца – Бутовский полигон под Москвой.

В доме «на краю города» (М.В. Шик и его близкие)

Вот вам мой приказ.

Исполните его, если меня любите.

*Возьмите к себе Михаила Владимировича Шика в
заштатные диаконы...*

*Из разговора
старца Алексия Зосимовского
с отцом Сергием Сидоровым*

После Октябрьской революции почти два года одним из руководителей потребительской кооперации в Москве был князь Дмитрий Иванович Шаховской. Пожалуй, необычное занятие для князя, но вопросами кооперации он занимался с начала 1910-х годов. Почему же князь, сын генерала Конногвардейского полка, человек с университетским образованием (окончил историко-филологический факультет Петербургского университета) оказался на этой работе? Вот что он писал в автобиографии (1917 год): «В служении русской кооперации я вижу теперь важнейшую свою задачу... Здесь все, что делаешь, – свое, кровное, бесхитростное, родное и никого не надо уговаривать и убеждать, а надо дружно делать одно с дорогими товарищами дело, равно для всех нас близкое... Потому что русский демократ – интеллигент по сущности своей, прежде всего член великого сложного кооператива, имя коему – человечество».

Видимо, такое представление о кооперации было связано для князя Шаховского с тем, что еще в середине 1880-х годов его жизнь проходила в тесном кругу друзей-единомышленников, называвшем себя Братством. Ядро Братства составляли Д.И. Шаховской, В.И. Вернадский, Ф.Ф. и С.Ф. Ольденбурги, И.М. Гревс. Их скрепляли общие идейно-нравственные убеждения и личные дружеские связи.

«Теперь нужно братство, как свободное и любовное соединение людей, преследующих одни цели и работающих вместе», – писал Шаховской. Это был своего рода кооператив – объединение интеллигентных людей, искавших общего дела. Члены братства занимались научной работой, народным образованием, земской работой и политикой. Братство стало одним из идейных центров оппозиции, его члены стали членами Конституционно-демократической партии, а Д.И. Шаховской – еще и членом ЦК партии кадетов.

Когда борьба за свержение царской власти закончилась, члены Братства стали бороться за сохранение культуры. Их общим делом в 1920-е годы стало создание массового краеведческого движения, которое бы объединило тысячи интеллигентов во всех концах нашей страны.

Краеведческое движение провинциальной и выброшенной в провинцию столичной интеллигенции началось в годы революции и гражданской войны как движение за спасение гибнущих культурных и природных ценностей. В 1921 году было создано Центральное бюро краеведения (ЦБК) под председательством С.Ф. Ольденбурга.

Важнейшим теоретиком краеведческого движения был другой член Братства – И.М. Гревс, руководивший методическим отделом ЦБК.

Шаховской в 1920-е годы занимался подмосковными «культурными гнездами». В то время он возлагал на краеведение исключительные надежды, видя в нем растущую тягу «миллионов душ русского народа к воссозданию духовных ценностей».

Неудивительно, что дочери Дмитрия Ивановича тоже увлеклись кооперативным движением и краеведением. Младшая – Анна – окончила Высшие женские курсы В.И. Герье в Москве по естественнонаучной специальности, старшая – Наталья – исторический факультет тех же курсов. Семья, хотя и происходившая из очень древнего рода, была небогата. Девочки рано начали трудовую жизнь – давали уроки. А у Натальи Дмитриевны обнаружился литературный дар. В 21 год она уже написала книжку о В.Г. Короленко (В.Г. Короленко. Опыт биографической характеристики. М., 1912).

Обе они участвовали в деятельности религиозно-философского кружка, созданного детьми В.И. Вернадского – Георгием и Ниной. Там Наталья Дмитриевна познакомилась со своим будущим мужем – Михаилом Владимировичем Шиком. Они бывали в усадьбе В.Д. Держва, о чем написала его дочь Мария Владимировна: «Помню, еще в Домотканове, приехала к нам веселая компания молодежи. В их числе были Натал[ья] Дм[итриевна], Михаил Владимирович и Владимир Андреевич (Фаворский. – Т.С.), еще не женатые. Обилие снега вдохновило нас прыгать с верхнего балкона. Мы прыгали и глубоко утопали в мягком, великолепном, нетронутым снегу. Все растрепанные, мокрые, мы проносились по комнатам, вылезали в окно залы на верхний балкон, перемахивали через балконные перила и опять летели вниз. Все это со смехом и шутками. В самый разгар веселья Наталья Дмитриевна вдруг удаляется в комнату... Мы с Лелей, как хозяйки, обеспокоились, и в мокрых валенках, со снегом в волосах, пришли спросить, что с ней. “Да так, захотелось немного сосредоточиться и пописать статью. Вы не беспокойтесь, я здорова и мне хорошо здесь тихо посидеть одной”.

Другой раз компания пошла в лес поздно вечером. Был мороз, и луна стояла почти круглая на ясном небосводе, и ее голубым светом наполнился воздух; в лесу черные тени чередовались с яркими всплесками лунного света на снегу: это было странно. Наташечка была легкая и в походке, и в общении, и в движениях, и в делах своих: все она делала как бы на лету. В те годы (1913–1914. – Т.С.) ее тоненькая прямая фигурка, казалось, не имела веса. И вся она – от узких, высоко поставленных плеч до стройных ног – была как горящая свечечка. Маленькую головку с типичным лицом ярославской губернии (хотя она не была крестьянкой) венчало колечко белокурой косы совершенно прямых, не вьющихся волос. Из круглого овала лица на вас смотрели круглые, светлые, внимательные глаза, защищенные только четкими верхними веками, но не бровями, потому что брови еле-еле обозначались вздернутыми уголочками над маленькими ямками глазниц. Безбровое лицо кажется особенно чистеньким, хорошо промытым и имеет выражение открытости, бесхитрости.

Выступающая вперед нижняя губа и подбородок – порода отца, а также признак сильной воли; только у отца нос был горбатый, а у Нат[альи] Дм[итриевны] тонкий-тонкий нос лодочкой; овал ее лица в профиль, как молодой месяц. Ей шел русский кокошник и

шушпан. Негромкий голос ее начинал звенеть и повышаться по мере того, как она возбуждалась; он звенел, как серебряный колокольчик, в каком-то невероятно высоком диапазоне, когда сердце ее горело усердием.

По наружности эти супруги были прямая противоположность друг другу. Он – ярко выраженный, хорошей породы еврей, она – типичная русская...

Миша был среднего роста, очень широк в плечах. Он был неподражаемо хорош в виде ассирийца: его характерный нос с сильной горбинкой, его черные глаза в огромных глазницах, задумчивые под полуопущенным четким верхним веком, с высоко поставленной черной бровью с изломом вниз, к скуле, еврейский изгиб губ – все говорило о знойной Палестине – родине его праотцов...

Миша обращал на себя внимание особенно позже, когда надел священническую рясу и отпустил бороду: борода была черная с малиновым отливом. Это была характерная голова Иоанна Крестителя с картины А. Иванова "Явление Христа народу".

Летом 1917 года Н.Д. Шаховская уехала из Москвы в Дмитров Московской губернии и стала заведовать культурно-просветительским отделом Дмитровского Союза кооператоров. Создавала кадры внешкольных работников, организовывала библиотеки и краеведческий музей. В январе–июне 1918 года работала в музее.

Анна Дмитриевна поступила в этот же музей летом 1918 года, на должность заведующей отделом ботаники. Известный революционер князь П.А. Кропоткин, живший в 1918–1921 годах в Дмитрове, отмечал деятельность сотрудниц музея, в том числе А.Д. Шаховской: «...и я радовался, видя, как разумно отнеслись к своему делу наши три молодые сотрудницы музея – геолог, ботаник и зоолог, в какой интересной и поучительной форме сумели они представить собранный ими материал». В 1919–1921 годах А.Д. Шаховская была заведующей Дмитровским музеем. А в ноябре 1920 года ЧК арестовала троих из четверых сотрудников музея.

Дело в том, что музей был создан при Дмитровском Союзе кооператоров. Руководителей Союза арестовали по обвинению в покупке товаров у частных лиц, которая считалась спекуляцией. Заодно взяли и сотрудников музея, хотя музей никаких торговых операций не вел. Через полгода сотрудницы музея были освобождены из Бутырской тюрьмы и вернулись в Дмитров. Но в сентябре 1921 года А.Д. Шаховская от заведования музеем отказалась, оставшись на должности руководителя естественноисторического отдела. Написала большой очерк о природе Дмитровского края.

А Наталья Дмитриевна еще в 1918 году переехала в Сергиев после того, как вышла замуж за М.В. Шика. Михаил Владимирович Шик, сын московского купца, окончил историко-филологический факультет Московского университета по двум кафедрам – всеобщей истории и философии и еще прослушал курс философии во Франкфуртском университете. Его глубоко интересовали религиозные вопросы. Возникла духовная близость с поэтессой Варварой Григорьевной Малахиейвой (публиковавшейся под псевдонимом Мирович). Он перевел вместе с ней книгу У. Джеймса «Многообразие религиозного опыта». Был активным членом религиозно-философского кружка, одним из организаторов которого являлся его одноклассник по гимназии Георгий Вернадский.

Во время Первой мировой войны Шик находился в армии, занимался эвакуацией населения из районов военных действий в Западном крае.

После войны, в 1918 году, М.В. Шик принял православие. Крестной матерью была В.Г. Малахиева, крестным отцом – художник Владимир Андреевич Фаворский, с которым Шик был давно знаком. При крещении он избрал своим небесным покровителем святого мученика князя Михаила Черниговского. Позднее Малахиева вспоминала: «Однажды в день Ангела о. Михаила я спросила Наташу (его жену), почему он не избрал себе покровителем Архистратига Сил Небесных. Наташа ответила, что ему, по его словам, «как-то по особенному был близок образ князя Михаила Черниговского, замученного в Орде». И тогда я подумала, что в нем бессознательно, а, может быть, и сознательно говорила надежда закончить свой путь на этом свете венцом мученика».

М.В. Шик стал любимым духовным сыном известного всей России старца Зосимовой пустыни Алексия (Соловьева), который говорил, что любит его больше всех на свете.

После свадьбы Михаил Владимирович и Наталья Дмитриевна в августе 1918 года поселились в Сергиевом Посаде.

Она стала преподавать в Сергиевском педагогическом техникуме, на внешкольном отделении. Он в апреле 1919 года вошел в Комиссию по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры. Ему были поручены работы по охране памятников края. Он обследовал церковь в Софрине, усадьбу графов Зубовых Тимофеевское, совершив пешую экскурсию за 18 верст от Сергиева, Успенский монастырь в Александрове. Занимался он также Вифанской библиотекой, готовил будущих экскурсоводов, написал план-конспект путеводителя по Лавре.

Для сборника «Троице-Сергиева Лавра» (1919) Шик написал статьи «Колокольня и колокола» и «Митрополичьи покои». Это удивительно поэтические описания. Статья о колокольне начинается так: «Когда вы приблизитесь к воротам монастыря и увидите, как бело-розовая колокольня слишком стремительно и пышно вырастает над насупившеюся семьею белосизых и золотых куполов Успенского собора, строго внушающих ей превосходство своего двухвекового старшинства, – вы, может быть, подосадуете, что не видите на ее месте простых контуров Ивана Великого. Но если вам посчастливится быть у Троицы не мимолетным гостем, и вы успеете вжиться в ее своеобразную красоту, если удастся любоваться колокольней откуда-нибудь из открытого поля, с лесной опушки, среди воздушного простора, на котором она просвечивает своими широкими пролетами и кажется построенной больше из воздуха, чем из камня, – тогда вы почувствуете, как дружно слилась лаврская колокольня с троицким пейзажем, и вполне примиритесь с тем, что благовест расходится по окрестностям с этого величественного, хотя такого, казалось бы, и нерусского создания архитектуры второй половины XVIII столетия».

Читая эти строки, понимаешь, почему именно Шик предлагал положить в основу путеводителя по Лавре эстетический принцип, к сожалению, не осуществленный до сих пор.

Статья о колокольне заканчивалась словами: «Жаль, когда исчезают плоды творчества прошедших поколений, когда исчезают такие создания, не материализовавшиеся в вещественную оболочку, как пение или звон колокольный. Разрушенные здания оставят следы в фундаментах, которые через тысячелетия будут

открыты и изучены археологами, как в Микенах или Вавилоне; исчезнувшие книги подадут о себе весть в цитатах – скольких мыслителей древности мы знаем только по выпискам из них, сохраненных другими авторами. Но звук колокольный, прогудев, растает в воздухе, и эхо не повторит его через века».

И на заседаниях Комиссии Шик ставил вопрос о необходимости обследования Лавры с точки зрения музыкальной. Он говорил о том, что «в ней сохранилось и в рукописях, и в современном ее пении многое, подлежащее обследованию – записи».

Однако сделать этого не удалось. А позже, на заседании Антирелигиозной комиссии при Политбюро ЦК ВКП (б) 6 марта 1926 года члены этой комиссии и присутствовавшие на заседании Н.К. Крупская и А.В. Луначарский высказались категорически «против какой бы то ни было материальной или моральной поддержки со стороны государства певческих и музыкальных хоров, концертов и капелл духовного характера, принимая во внимание, что в данный момент церковная музыка имеет актуально-реакционное значение».

В январе 1930 года с колокольни Лавры были сброшены и отправлены на переплавку колокола Годунов, Карнаухий и Царь-колокол. Сбылось предсказание Шика: «...звук колокольный, прогудев, растает в воздухе и эхо не повторит его через века».

В начале 1920 года Шикуну пришлось уйти из Комиссии по охране памятников искусства и старины Лавры при ее реорганизации. Он перешел на преподавательскую работу в Педагогический техникум, а потом принял сан диакона и служил в Петропавловской церкви Сергиева Посада. Священником в ней был в ту пору о. Сергей Сидоров. Он вспоминал, что его призвал к себе знаменитый зосимовский старец Алексей и сказал: «Вот Вам мой приказ. Исполните его, если меня любите. Возьмите к себе Михаила Владимировича Шика в заштатные диаконы...».

Летом 1922 года в семье родился долгожданный первенец – Сережа. Его рождение было связано с риском для здоровья Натальи Дмитриевны – еще в 1914–1915 годах она болела туберкулезом, и врачи предупреждали об опасности новой вспышки болезни и даже возможности смертельного исхода. Но она сказала: «Жизнь за жизнь – это не так уж дорого». Ольга Павловна Трубачева (Флоренская) вспоминала: «Мы ходили к Шикам-Шаховским. Они жили на Лесной улице, последний дом на правой стороне, а дальше поле. (Видимо, ошибка: Шики-Шаховские жили на Лесной улице в доме №5, а потом – на Бульварной. – Т.С.). У них была терраса, такая светлая, что, казалось прямо в поле находишься. У меня воспоминания об этом доме связаны с васильками – в поле было много васильков. Помню, как там были крестины, по-моему, Сергея Михайловича. И папа вместо кропила использовал букет васильков».

А.Д. Шаховская в это время уволилась из Дмитровского музея и переехала в Сергиев Посад, поселившись у сестры. Малахиева и Шик-Шаховская решили считать Сережу своим общим ребенком. Варвара Григорьевна писала стихи мальчику. Например, такие.

*Колокольчик хрустальненький,
Цветочек мой аленький,
Спи, усни –
В своей беленькой спальне.*

*По морозу бегут саночки.
Везет зайнька бараночки.
Одну – козлику,
Одну – котику,
Одну – кошечке,
Одну – розовому ротуку
Сережечки.*

До революции Малахиева (Мирович) выступала в печати как литературный и театральный критик: сначала в киевских газетах, а позже в петербургских журналах «Русская мысль» и «Мир искусства». Ее стихотворения печатались в журналах, а в 1923 году вышел сборник «Монастырское». Много стихотворений написала она в Сергиеве. Это и лирические стихи о природе, и юморески, и беглые зарисовки, потешные песенки. Вот одна из зарисовок с названием «Посад».

*Слетаясь на хребте сарая,
Ворон и галок кружит стая;
Под сенью трепетных берез
Звенит на улице покос.
В саду, за частым частоколом
С журчанием дремотным пчелы
Снуют в малиновых кустах.
Как страж, рябина на часах,
Под ней скамья за воротами –
Сидеть вечерними часами
В беседе мирной старикам,
Крестясь на отдаленный храм
Рукой, в трудах дневных усталой,
Когда в лучах заката алых
Средь синей леса темноты
Горят Киновии кресты.*

Особое место в ее творчестве занимали стихи, проникнутые религиозным чувством.

*Три волхва идут ночной пустыней –
Мельхиор, Каспар и Валтасар.
– Слышен Вам далекий голос львиный? –
Оробев, шепнул Каспар.
Валтасар сказал: – Я умираю.
Жажда мучит. Путь еще далек.
Целый день ключа мы не встречали.
Все песок, песок...
Лучше бы от крепкой лапы львиной
Поскорей бы снести один удар,*

*Чем влачиться без конца в пустыне.
И сказал: – Ты прав, – ему Каспар.
Мельхиор же не слышал их речи.
Вся пустыня перед ним цвела
Радостью обетованной встречи
С Тем, к Кому звезда вела.*

*Подайте страннице убогой –
Иду к святым местам.
Разбились лапти по дорогам,
Котомушка пуста.*

*Кто может, – дай щепотку чаю.
Отсыпь и сахарку.
В пути я, грешница, признаюсь
Люблю попить чайку.*

*Прикинь копеечку на свечку,
На общую свечу,
О всякой доле человеческой
Молиться я хочу.*

*Лихих собак попридержите –
Подол весь изорвут.
В лохмотьях как войти в обитель?
Монахи засмеют.*

*На Валаам – не та ль дорога?
Ой, ширь, ой, высь кругом!
Просторна горница у Бога –
Странноприимный дом.*

Стихотворения Мирovich для детей написаны в гуманистической традиции дореволюционной детской литературы, вызывающей в ребенке чувство жалости ко всему живому. Потом такая литература была объявлена фальшиво-сентиментальной.

*Подстрелили ворону дети –
Играли, шалили с ружьем.
Полетела ворона в поле
И упала на снег ничком.*

*И чернела в снегах ворона,
А вечерних небес бирюза
Ей длинным взором зеленым,*

Как смерть глядела в глаза.

*И погасла. И ночь настала.
Детям сладкий сон принесла.
А ворона всю ночь умирала.
Все никак умереть не могла.*

*На короткой цепи прикована
День и ночь рыдает собака
Человеческим страшным голосом
От неволи, мороза и голода.
И хозяин ее, и прохожие
Ухом привычным
Плач ее слушают,
Забираясь в теплое логово,
И верят, что так положено:
Собаке – собачья доля.*

В 1921 году Мирович, как и другие поэты, продавала свои рукописные сборники стихотворений с собственными иллюстрациями. В 1926–1928 годах вышло несколько ее сборников стихов и рассказов для детей. Позднее она могла только дарить машинописные книжечки стихотворений со своими рисунками – «Детскому саду – в награду» – детям Натальи Дмитриевны.

А детей в этом «саду» становилось все больше:

*Мезонин мой,
Как скворечник,
Переполнен
Звуком вешним,
Щебетанием скворчат,
Звонким лепетом ребят.
Что-то носят,
Что-то просят,
И хохочут,
И хлопочут,
Ножки быстрые топочут...
Как алмаз тысячегранный
Этот зимний день туманный.*

Их отца арестовали, когда Наталья Дмитриевна ждала третьего ребенка. Был декабрь 1925 года.

Шик проходил по делу так называемой «Сергиевской самаринской группировки» вместе со священником о. Сергием Сидоровым, П.Б. Мансуровым, П.В. Истоминым,

князем И.С. Мещерским и Ф.А. Челищевым. Получил два года высылки в г. Турткуль Каракалпакской АССР.

Наталья Дмитриевна осталась почти без средств. С полугодичной дочкой она ездила из Сергиева в Москву, в Исторический музей, где водила экскурсии, а ребенка оставляла у бабушки. Вечером с продуктами и пеленками в рюкзаке и с ребенком на руках возвращалась в Сергиев. Так же, с дочкой на руках, ездила в тюрьму на свидания с мужем. А потом с пятилетним сыном Сережей совершила поездку в Турткуль, несмотря на все трудности и опасности далекого пути.

Положение семьи осложнялось тем, что Шик-Шаховская и ее сестра в январе 1926 года были лишены избирательных прав. Причина – «нетрудовые доходы». И примечание: «Дочь б. князя». У Натальи Дмитриевны в то время было трое маленьких детей, а Анна Дмитриевна работала в Сергиевском обществе изучения местного края, основанном еще в 1922 году по инициативе заведующего педагогическим техникумом Н.Н. Иорданского, Шика и ее самой. В 1925 году обществом был выпущен статистико-экономический сборник по Сергиевскому уезду, в редактировании которого А.Д. Шаховская принимала большое участие. Ею (в соавторстве с Н.А. Ивановой) была написана помещенная в сборник статья о природе края. Кроме того, она выпустила несколько книжек о природе в серии «Библиотечка школьника», преподавала в Педагогическом техникуме и в школе. В 1927 году в Сергиеве был открыт Краеведческий музей, вскоре А.Д. Шаховская была принята туда на службу.

Но весной 1928 года в печати началась травля так называемых «бывших», живших в Сергиеве. Директора музея В.Н. Мордвинову прямо обвиняли в сергиевской газете в том, что у нее работает Шаховская: «Не случайно Мордвинова подбирала близких ей сотрудников музея. Чем объяснить, что Мордвинова воссадила себе на голову архибожественную фигуру в лице княгини и помещицы (так!) Шаховской?..».

Как раз в то время, когда развернулась эта газетная кампания, возвратился в город М.В. Шик, принявший в ссылке сан священника. Он стал служить в Петропавловской церкви. Анну Дмитриевну в мае 1928 года арестовали вместе с большой группой «бывших». А семья ее сестры уехала из Сергиева и поселилась в деревне близ станции Томилино Казанской железной дороги. О. Михаил служил в храме Святителя Николая на Маросейке (он был близок с его настоятелем, священником Мечёвым), а с 1930 года – в храме Святителя Николая у Соломенной сторожки в Петровско-Разумовском.

Малахиева вспоминала: «По свойствам натуры своей он был склонен к так называемой лени, к быстрой утомляемости, к невыносливости, к потребности долгого отдыха. Но когда он стал священником в одной из московских церквей, а жил в одной из подмосковных деревень, по железной дороге в 40 минутах от Москвы, он должен был подыматься с постели в 5 часов утра для того, чтобы попасть в свой храм к ранней обедне. Должен был зимой шагать под вьюгой по заметенной сугробами дороге от деревни к железнодорожной станции. И когда кто-то из родных в разговоре с Наташей упомянул о Мишиной сонливости, она сказала: "Сонливость, ленивость – это уже все в прошлом". И рассказала, как он быстро и легко стряхивает сон, без минуты промедления во всякую погоду пускается в путь. Ни одного разу еще не опоздал к ранней обедне, не пропустил ни одного богослужения».

Дочь священника церкви у Соломенной сторожки о. Владимира Амбарцумова писала о Шике: «Во внешности отца Михаила было что-то ветхозаветное, а скорее апостольское. С него можно было писать образ апостола Павла. Очень активный, энергичный человек с быстрой, широкой походкой. У него было много друзей среди духовенства, и не только московского. Он был очень внимательный и деликатный исповедник».

Отличительной чертой о. Михаила было нежелание кого-либо осуждать. Малахиева писала: «Когда при о. Михаиле начинали осуждать кого-нибудь за какие-нибудь слова или поступки, он с досадой, а никогда с гневом говорил: "Почем вы знаете, что у него было на душе, в это время? Какие мотивы заставляли его поступать так или иначе?.." Он вносил с собою дух миротворчества, незлобия и того "невидения лукавства ни в каком человеке", которое считается высочайшей ступенью христианской добродетели в святоотеческой литературе. Правда, с так называемыми обывателями и обывательницами он держал себя далеко. Способен был с огорченным видом уйти, застав у меня такую гостью. Но когда однажды стали осуждать при нем одну из таких "кумушек", он негодуяюще встал на ее защиту: "И такая она, и сякая... А если бы мы с такой наследственностью родились и так, как она, воспитывались, и в такой среде жили, может быть, мы еще хуже были бы...".

К концу своего иерейского служения все привычки роскошной, изнеженной барской жизни были выкорчеваны из него без остатка. Он не тяготился ни длинными службами, ни ранним вставанием, ни длительными беседами с духовными детьми... И ни у кого не было уже речи о недостатке внимания, о рассеянности. Напротив, все отмечали исключительную чуткость его и внимательность к их индивидуальным особенностям и эту чарующую мягкость и теплую человечность, за которую в 18-летнем возрасте его сравнивали с Алешей Карамазовым».

Летом 1931 года снова нависла опасность ареста. И семья из Подмосковья переехала в город Малоярославец Калужской области (за 101 км. от Москвы). О. Михаил совершал богослужения дома, тайно принимал у себя приезжавших из Москвы духовных детей и некоторых местных жителей. Среди его духовных чад была знаменитая пианистка М.В. Юдина, дочь В.В. Розанова Татьяна Васильевна и даже дочь Менжинского.

Наталья Дмитриевна писала и переводила для детей и юношества популярные книжки о путешественниках, изобретателях, ученых. Книжку о Фарадее, выдержавшую несколько изданий, она написала вместе с мужем. Стала членом Союза писателей. В 1930-е годы написала несколько чудесных рассказов о детях – своих детей у нее уже было пятеро. Писала она еще и о Никите, сыне художника В.А. Фаворского, и о детях о. Сергия Сидорова. Рассказы писались «в стол» и были опубликованы лишь в 1990-е годы.

Детей учили дома и только окрепшими духовно отдавали сразу в третий или пятый класс. В школе, конечно, замечали «инаковость» этих детей, учившихся хорошо, но не желавших вступать ни в пионерскую, ни в комсомольскую организацию. Да и сам о. Михаил не признавал никакой конспирации, всегда ходил в священнической одежде.

25 февраля 1937 года в их дом пришли трое в штатском с ордером на арест. Обнаружили в пристройке признаки домового храма и увели о. Михаила.

Последний раз жена видела его на следующий день после ареста. Она поехала в Москву сообщить родным и друзьям об аресте. И случайно в этот же вагон сели конвоиры с арестованным. Он переговаривался с женой взглядами, потом нарисовал на запотевшем стекле крест – последнее благословение...

Наталья Дмитриевна искала мужа по разным тюрьмам. Тогда люди передавали небольшую сумму денег заключенному: если деньги в тюрьме принимали, значит, человек находится в этой тюрьме. В конце года в справочном окошке одной из тюрем ей ответили, что он осужден «на 10 лет без права переписки». Она плохо слышала, и ей написали на бумажке: «Выслан в дальние лагеря без права переписки». Тогда люди не понимали, что это значит, и она продолжала искать мужа, посылая запросы в разные лагеря. Отовсюду приходили отрицательные ответы.

Во время войны в Малоярославце семья испытала бомбежки, голод и холод. Кроме своих детей, возле Натальи Дмитриевны собрались пожилые родственники и просто знакомые, бежавшие из Москвы от бомбежек и бесприютной жизни. «Семья» выросла до 12 человек.

Малоярославец был оккупирован немцами. Пришел вызов – явиться в немецкую комендатуру с детьми. Старший сын Сергей в то время был в Москве. С матерью оставались дети 17, 15, 13 и 11 лет. Им грозила отправка в гетто и уничтожение. Справки о том, что дети православные, не имели для немцев никакого значения: по крови они считались евреями (по отцу). Вызов пришел 24 декабря 1941 года, но 24–26 числа комендатура не работала в связи с Рождеством. А в ночь на 27-е начался обстрел города нашими войсками. Комендатура спешно эвакуировалась. Первого января наши части вошли в город.

От всего пережитого у Натальи Дмитриевны обострился туберкулез. Понимая, что недалек ее смертный час, она написала в прощальном письме мужу: «Дорогой мой, бесценный друг, вот уже и миновала моя последняя весна. А Ты? Все еще загадочна, таинственна Твоя судьба, все еще маячит надежда, что Ты вернешься, но мы уже не увидимся, а так хотелось Тебя дождаться. Но не надо об этом жалеть. Встретившись, расстаться было бы еще труднее, а мне пора...

Имя Твое для детей священно. Молитва о Тебе – самое задушевное, что их объединяет. Иногда я рассказываю им что-нибудь, чтобы не стерлись у них черты Твоего духовного облика. Миша, какие хорошие у нас дети! Этот ужасный год войны раскрыл в них многое, доразвил, заставил их возмужать, но, кажется, ничего не испортил».

Умерла Наталья Дмитриевна в Московском туберкулезном институте 20 июля 1942 года. Она так и не узнала о судьбе мужа.

Дети остались сиротами. Двоих младших – Дмитрия и Николая – усыновила Анна Дмитриевна Шаховская, дала им свою фамилию. С 1930 года она занималась геологической съемкой и изучением полезных ископаемых (работы эти проводились музеем Дмитровского края). Потом поступила в Московский Геологоразведочный трест, где занималась составлением карты полезных ископаемых. Вскоре ее арестовали вместе с группой профессоров-геологов. Но благодаря хлопотам Е.П. Пешковой, она была освобождена. Затем четыре года проработала научным сотрудником Всесоюзной строительной выставки, а в 1938 году ее принял на работу в Институт геохимии и

аналитической химии АН СССР В.И. Вернадский, старый друг ее отца. С января 1939 года и до самой смерти академика она была его референтом, с ним выезжала и в эвакуацию.

В.И. Вернадский пытался узнать о судьбе М.В. Шика и упорно хлопотал о Д.И. Шаховском, который был арестован в июле 1938 года: обращался к А.Я. Вышинскому, просил разрешения хотя бы передать теплые вещи, потом – к Берию, не боясь признаться в том, что с Шаховским его связывала почти 60-летняя дружба. Только в 1991 году стало известно, что Шаховского, по словам Вернадского – «одного из самых замечательных людей нашей страны», – расстреляли 15 апреля 1939 года.

В 1994 году дети Шика наконец узнали, что их отец был расстрелян на Бутовском полигоне, находящемся к югу от Москвы. В тот день, 27 сентября 1937 года, там расстреляли 272 человека, а всего на Бутовском полигоне за период с августа 1937 по октябрь 1938 года были расстреляны десятки тысяч.

На бывшем полигоне сын В. Шика, скульптор Дмитрий Михайлович Шаховской, установил деревянный крест.

Его сестра, Елизавета Михайловна Шик, пишет: «...25 июня 1995 года, в День всех русских святых, совершена (в походном храме-шатре) первая Божественная Литургия, и с этого времени как-то начинает отступать ощущение мрака и ужаса этого места, сменяясь тихой печалью, смешанной с радостью о том, что найдена земля, которая хранит дорогие останки. Это место перестает быть страшным и становится святым».

В 1996 году на пожертвования здесь была сооружена деревянная церковь во имя Святых Новомучеников и Исповедников Российских. Самое активное участие в ее сооружении принимал автор проекта, Д.М. Шаховской.

Художники в доме на Кооперативной улице

Отличительной особенностью дома Фаворских – атмосфера подлинности.

Здесь не было места подражанию, подделке – ни в обстановке, ни в одежде, ни в человеческом общении.

С.З. Трубачев

На одном из домов Сергиева Посада на Кооперативной (бывшей Репной) улице висит мемориальная доска, гласящая, что здесь жил художник В.А. Фаворский. Но в этом доме, принадлежавшем Машинским, жили и бывали и другие художники. Первым здесь поселился Павел Яковлевич Павлинов (1881–1966).

Павлиновы

Был у Павлинова в Москве собственный дом в Малом Ржевском переулке, в районе Арбата. Этот дом понравился одному чекисту-грузину, и Павлиновых выселили (теперь здесь находится грузинское посольство).

Павлиновы ютились у своих родственников. Когда родился еще один ребенок, художник решил перевезти семью в Сергиев Посад. Там у него были знакомые – П.А. Флоренский и В.А. Фаворский. Приехали Павлиновы в Посад, предположительно, летом 1922 года.

У Машинских был большой заросший сад с огромным ветвистым дубом и прудом – раздолье для детей. И сам дом оказался примечательным: дети обнаружили в кладовой целый сундук писем и открыток начала XX века. Как выяснилось, эти комнаты раньше снимал сенатор Симанский. Сын его учился в Московской Духовной академии, и впоследствии стал Патриархом Алексием I. Открытки с изображением православных церквей, которые будущий Патриарх посылал из своих поездок, до сих пор хранятся в семье Павлиновых.

Художник П.Я. Павлинов происходил из семьи моряка: его отец был вице-адмиралом кадетского корпуса, куда по традиции после окончания гимназии определили и Павла Павлинова. Еще во время учебы он стал заниматься рисунком и живописью частным образом у художника И.Э. Браза. Много новых впечатлений дала ему служба на флоте (1900–1904), особенно два года плавания с русской эскадрой адмирала Кригера, находившейся с дипломатической миссией в Средиземном море. В плавании он понял, что не может жить без искусства, и, вернувшись, поступил вольнослушателем в Академию художеств. Занимался у Д.Н. Кардовского, а во время трехмесячного отпуска в 1908 году учился в мастерской художника Кроппа в Мюнхене. Одновременно преподавал в Морском корпусе. В 1911 году вышел в отставку в звании капитана второго ранга, переселился в Москву. Здесь он увлекся гравюрой. Представил на выставку Московского

товарищества художников (МТХ) один из офортов. На выставке он познакомился с В.А. Фаворским, дружба с которым продолжалась долгие годы.

Павлинов много путешествовал по Европе. Когда началась Первая мировая война, заставшая его в Италии, вернулся и работал в Военном цензурном комитете. Не оставлял и занятий гравюрой. В 1914 году вступил в МТХ, стал казначеем правления, а потом и председателем товарищества.

К событиям 1918 года относится рассказ сына художника Петра Павловича об аресте Павлинова в числе группы бывших офицеров царской армии. Им грозил расстрел. Об этом узнал нарком просвещения А.В. Луначарский (он нередко бывал в доме Павлинова, где проходили заседания МТХ). Луначарский прислал своего представителя, чтобы освободить Павлинова. Тот сказал: «А ведь тут и Фаворский...» Обоим удалось спасти.

В послереволюционные годы Павлинов, не без участия Фаворского, увлекся театром марионеток, и стал заведующим его технической частью. Одновременно работал в Окнах РОСТА, участвовал в работе Комиссии по охране памятников искусства и старины. В 1921 году Фаворский пригласил его во ВХУТЕМАС. С этого времени Павлинов непрерывно, в течение многих лет, преподавал гравюру в разных высших учебных заведениях. Объединяла его с Фаворским еще и любовь к музыке, унаследованная от матери-пианистки. Он играл в домашних концертах на скрипке вместе с Фаворским (кларнет) и художником М.И. Никовым (флейта).

В 1925 году Павлиновы уехали из Сергиева Посада – Павел Яковлевич построил дом в поселке художников на Соколе, тогдашней окраине Москвы. Но и после этого он часто бывал у Фаворских, а сын Фаворского Никита порой даже пешком ходил из Загорска в их дом на Соколе.

Павлинов прожил долгую жизнь, иллюстрировал произведения Пушкина, Лермонтова, Лескова, Короленко, Новикова-Прибоя и других писателей, был известен и как театральный художник.

Во время Великой Отечественной войны он работал для издательства Военно-Морского флота, а после войны иллюстрировал в основном книги о путешественниках, морях и кораблях.

Фаворские

В 1925 году Фаворские, жившие до этого на Вифанской улице (дом 99) в Сергиевом Посаде, после отъезда Павлиновых сняли второй этаж дома Машинских на Кооперативной улице. Семья приехала в Посад еще в 1919 году, когда сам Владимир Андреевич Фаворский (1886–1964) был на фронте. Она состояла из родителей художника – Андрея Евграфовича и Ольги Владимировны, его жены Марии Владимировны, маленького сына Никиты и бабушки жены – Аделаиды Семеновны Симонович. На Вифанке родился второй ребенок – Иван. А дочка Маша родилась уже в доме на Кооперативной.

Андрей Евграфович Фаворский был сыном сельского священника. Окончил юридический факультет Московского университета, получил таким образом личное дворянство и женился на дочери известного архитектора В.О. Шервуда. После окончания университета жил в родном селе в Нижегородской губернии, служил присяжным поверенным, организовал артель, которая занималась сбытом изделий местных кустарей. Был близок к народникам. По доносам его арестовали и выслали в Вологду под надзор полиции.

Когда встал вопрос о выборах в Государственную Думу, Фаворский купил небольшой участок земли в родных местах, чтобы иметь имущественный ценз, дающий право быть выбранным. Основал хутор Епифановку и с удовольствием занялся сельским хозяйством: разрабатывал торфяники, засеивал пустыри австрийской и обыкновенной сосной, разводил и улучшал местные породы скота, организовал прекрасное молочное хозяйство, занялся пчеловодством – у него было до 300 ульев. Он продавал мед оптом и масло кусками. Его сын сделал гравюру для обертки масла, на которой были изображены медоносные травы и коровы, с надписью: «Кушай на здоровье маслице коровье».

У него было много знакомых в окрестных селениях. Он активно участвовал в общественных делах, старался улучшить жизнь крестьян и кустарей. Будучи депутатом III Государственной Думы, Фаворский отстаивал интересы павловских кустарей, хлопотал о строительстве железной дороги к селу, был также попечителем Павловского кустарного района и Павловской женской учительской семинарии. Он построил в деревне школу, помогал крестьянам советами. Но после революции ему пришлось уехать. С 1919 года он с женой жил в семье сына в Сергиевом Посаде.

Летом 1920 года Андрея Евграфовича пригласили в Комиссию по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры на должность бухгалтера. Вскоре его, помимо работы в бухгалтерии, назначили заведующим отделами Древнерусской живописи и Древнерусской книги. А через месяц с двумя другими сотрудниками он уже составлял программу лекций для населения.

Время было голодное. Сотрудники музея искали способ выжить, занимались огородами. Встал вопрос о возвращении лошади и сбруи, которые забрал Наробраз. К кому обратиться за советом, как это сделать? Конечно, к Андрею Евграфовичу. И еще в 1920 году ему было поручено заведовать пчельником Лавры – пригодились его знания, полученные на собственной пасеке.

В 1922 году штаты Комиссии пришлось сократить по числу выделенных продовольственных пайков. Фаворского уволили, оставив в должности бухгалтера как

сверхштатного сотрудника (сверхштатные получали только помещение и небольшое количество дров, но не зарплату). И Андрей Евграфович продолжал работать, работать до самого конца: благодаря нему семья Фаворских в течение трех с половиной лет имела жилье на территории Лавры.

Скончался Андрей Евграфович в 1924 году на 82-м году жизни.

Жена его, Ольга Владимировна Шервуд, была дочерью известного художника и архитектора. Она окончила Высшие женские курсы Герье. Выйдя замуж в 1883 году, полностью разделила интересы мужа. Очень любила цветы и даже разводила розы на бедной песчаной почве в Епифановке. Еще она любила рисовать, рисовать цветы.

Когда в Сергиевом Посаде в начале 1920-х надо было найти какой-то заработок, она занялась росписью поделок из папье-маше и дерева. Руководил ее работой монах Афоний Вишняков, происходивший из семьи жостовских мастеров. Она расписывала цветами по черному фону коробочки, брошки, вазочки для кистей – эти изящные вещицы шли на продажу как сувениры. Скромный заработок Ольги Владимировны был подспорьем для семьи.

Ее внучка, Мария Владимировна, так описывала комнату своей бабушки в доме на Кооперативной: «...совсем особый мир была бабушкина комнатка, самая маленькая, но и самая светлая – на солнечной стороне. У нее всегда цвели цветы. Помню зимой цветущие розы. У бабушки было так хорошо и красиво. Кровать покрыта старинным ковром, круглый вертящийся столик, – на нем она расписывала брошки и коробочки. Старинные маленькие этажерки, на них всякие удивительные предметы: японские обезьянки из кости, бронзовые фигурки, вазочки...

А сама бабушка всегда была очень красива. Серебряные волнистые волосы обрамляли приветливое лицо, а ее простые кофточки были как-то особенно аккуратны и изящны. Когда она разливала чай своими узкими красивыми руками, всем становилось особенно уютно и хорошо. Я помню бабушку уже старой, она редко выходила из дома, но всегда интересовалась всем – от политических событий до наших детских новостей... Спокойная, справедливая, она, конечно, была центром семьи. Отчетливо помню ощущение детского счастья: возвращаясь домой, знать, что дома ждет бабушка».

Фаворский, сделал в дневнике такую запись после кончины матери: «Я благодарил за все, благодарил за то, что она была моей матерью, и я в ней имел разумную, спокойную, очень чуткую, очень мужественную женщину (обязан я ей очень многим, представлением о чистоте человека, о честности, о лучших стремлениях человека, об идейности)... Мягче ее, деликатнее, скромнее трудно себе представить человека, в то же время веселая, бодрая и деятельная и по-своему мужественная и сколько-то даже суровая».

Владимир Андреевич писал: «Я начал рисовать потому, что рисовала мать». Он учился на курсах скульптуры в Строгановском училище, в студии К. Юона, в студии профессора Холлоши в Мюнхене. Вернувшись через три года в Россию, поступил в Московский университет на историко-филологический факультет, окончив который, получил специальность искусствоведа. В 1912 году он женился на Марии Владимировне фон-Дервиз, с которой познакомился в усадьбе Дервизов Домотканово в Тверской

губернии, где собирались художники. В этот круг входили также княжна Наталья Дмитриевна Шаховская и ее будущий муж Михаил Владимирович Шик – товарищ Фаворского еще с гимназии. С ними он встретился в Сергиевом Посаде уже после революции.

В 1915 году Фаворского призвали на военную службу, с которой он вернулся только весной 1920 года.

По возвращении из армии стал преподавать во ВХУТЕМАСе, был ректором этого учебного заведения (1923–1925). В конце 1920-х годов началась так называемая «чистка» профессорского состава. Фаворского спросили: «Почему вы не состоите в Союзе воинствующих безбожников?» Он ответил: «Я в Бога верую».

Как профессору ему дали комнату в Москве. Так описывал ее обстановку художник А.Д. Бочаров: «Комната была маленькая и узкая. Помещались в ней слева от двери железная койка Фаворского, на деревянных досках которой лежал тоненький тюфячок с тоненьким солдатским одеялом, посередине – старинный обеденный стол с откидными крышками, справа небольшой шкафчик, в котором хранились какие-то бумаги, книги и деньги, а перед столом стоял круглый баул, покрытый куском старого ковра, на нем сидел Владимир Андреевич, гравировавший или рисуя... Над столом висела единственная лампочка, прикрытая бумажкой, на окне занавесей, конечно, не было, а были с подоконника спущены на бечевках пустые консервные банки, куда стекала вода от таявшего на окнах льда. Было бедно, узко и жестко».

О том, как он работал во ВХУТЕМАСе, сам Фаворский писал: «Я уходил на службу к девяти часам утра и часто возвращался домой к девяти часам вечера, иной раз и не пообедав. Дома я обедал, но после обеда никогда не давал себе права отдыха и сейчас же садился работать... Глядишь, часикам к двенадцати ночи и разойдешься!»

До 1939 года перевезти семью из Сергиева Посада в Москву Фаворский не мог. Приезжал к семье только на выходные. Его дочь, Мария Владимировна, вспоминает: «Московская жизнь отца в тридцатые годы, как я теперь понимаю, была очень трудной: всяческие гонения, потеря самых близких друзей, постепенная гибель его детища – ВХУТЕМАСа, тревога за судьбы учеников. Но когда он приезжал к нам на выходные в Загорск, то, переступая порог дома, сознательно отметал все это: здесь он был со своей матерью, женой, детьми, и это, наверное, было спасением».

В день его приезда нас с братом Ваней укладывали в обычное время, но мы не спали, ждали звуков открываемой двери, отцовского бодрого голоса, маминого радостного, и тогда мчались в ночных рубашонках в прихожую и кидались в его морозные объятия, в чудесный запах заиндевелой бороды. Иногда с ним приезжал и Никита, тогда было еще больше радости.

Оба привозили тяжелые рюкзаки с едой, разбирать их тоже был ритуал, который нам разрешался, несмотря на позднее время, и всякая малость нас так радовала!

Почти весь следующий день отец принадлежал нам – детям. Обязательно была далекая прогулка в лес. На обратном пути отец сажал меня к себе на плечи, а зимой, когда все ходили на лыжах, привязывал на длинной веревке к своему поясу. Он шел ровно на широких старых лыжах, а я попевала сзади на своих маленьких.

Летом и осенью набирали букеты – для бабушки Ольги Владимировны, – она рисовала цветы.

К обеду приходил кто-нибудь из загорских знакомых или приезжали из Москвы... Обедали все вместе, не спеша, бабушка разливала чай из самовара...».

«Отличительная особенность дома Фаворских – атмосфера подлинности. Здесь не было места подражанию, подделке – ни в обстановке, ни в одежде, ни в человеческом общении», писал С.З. Трубачев.

А один из московских гостей так описал прогулку с Фаворским: "Ранним вечером – прогулка вдоль стен лавры. Косые лучи закатного солнца. Тишина. Безлюдье. И что же? Неторопливое повествование Владимира Андреевича заселило зеленое холмистое пространство ратниками XVII столетия, русскими и польскими. Это был подробный рассказ очевидца».

В Посаде Фаворский познакомился с П.А. Флоренским, пригласил его преподавать во ВХУТЕМАСе. «Лучшего лектора и более знающего не знал, да и вряд ли был такой и сейчас найдется ли», – считал Фаворский. С Флоренским у него сложились дружеские отношения. В 1920-е годы он сделал экслибрис Флоренского, несколько карандашных портретов его и дочери Ольги, обложки к одной из книг Флоренского и к журналу «Маковец», в котором тот принимал деятельное участие. Дружили семьями. Особенно сблизился с Кириллом и Ольгой Флоренскими старший сын Фаворского Никита.

До своего ухода на фронт Никита постоянно приезжал в Загорск и в 1940 году, работая над путеводителем «Архитектурные памятники Лавры», даже жил в доме Флоренских. Предполагалось, что Ольга Флоренская и Никита поженятся. Но он не вернулся с фронта, и Ольга Павловна после войны вышла замуж за Сергея Зосимовича Трубачева. Когда у них родилась дочь, Фаворский стал ее крестным отцом (крестной матерью – пианистка Мария Вениаминовна Юдина). С.З. Трубачев писал: «... мы несомненно хотели закрепить и передать нашим детям связи, сложившиеся независимо от нас, в годы нашего детства и юности, – отношения, основанные на любви и почитании тех, в ком видели мы осуществление гармонии цельной и прекрасной личности».

Другим хорошим знакомым Фаворского в Сергиевом Посаде был М.М. Пришвин. Художник сделал иллюстрации к его повести «Женьшень» и портрет автора.

Фаворского интересовала архитектура лавры – он создал несколько графических пейзажей с ее изображением. «Настоящая архитектура заменяет природу», – писал он.

Жена Фаворского тоже была художницей. Ее занятие рисованием поощрял друг ее отца В.А. Серов. Потом она занималась в частных мастерских художников в Париже, в студии К. Юона и, наконец, в Училище живописи, ваяния и зодчества, которое окончила в 1913 году.

В Сергиевом Посаде она руководила изокружком в подростковом клубе, преподавала рисование в школе и в Педагогическом техникуме. В голодном 1920 году шила тряпичных кукол и зверей для продажи на рынке. С 1930 года участвовала в выставках в Загорске и Москве. Но главным делом жизни считала воспитание детей. Однако и в этом проявлялись ее художественные наклонности. Вместе с детьми из того,

что было под рукой, мастерила елочные украшения, цветы, фонарики, маскарадные костюмы, устраивала театр теней.

Дети росли в дружной, любящей семье. «Говоря о детях, Владимир Андреевич как-то вдруг всегда светлел, и в его словах звучала нежность, с которой другие, да и то редко, говорят только о цветах. Он сказал как-то, что особенно милы дети, прибегая с прогулки и внося с собой "запах мороза"», – вспоминала знакомая Фаворских.

Трубачев вспоминал, что «в доме Фаворских любили музыку, пели и музицировали... Дети подбирали на цитре подложенные под струны ноты и запоминали народные напевы... Фаворские любили не только строгую классическую музыку. В их семейный быт, лишенный стилизации и чуждый мишурного украшательства, органично входила народная музыка. Запевал Никита, Владимир Андреевич негромко вступал с подголоском – получалось по-народному, как поют в деревне. Пели "Среди долины ровныя", "В темном лесе", "Ах вы, сени"... Сыновья Фаворского напоминали героев русских былин и сказок. В характере Вани – цельность и несомненная самобытность. А разве не то же скажешь о Никите, словно возрожденном богатыре русского эпоса...

Восприятие природы не было отделено ни стенами дома, ни чертой города, ни высокой культурностью семьи: общение с ней – постоянная потребность... От малого пруда и корявистого дуба возле дома дорога уходит через долину к лесу, куда во всякое время года – зимой на лыжах – устремлялись и родители, и дети. Никита исходил и знал все окрестности Загорска, бродил с товарищами детства Кириллом Флоренским и Владимиром Рекстом, неутомимыми путешественниками и охотниками».

Никита в ранних лет увлекался вырезыванием деревянных фигурок, деревянной гравюрой. В четырнадцать лет он создал гравюры-иллюстрации к книжке рассказов деревенских ребят. Свободно рисовал пером, тушью, карандашом, акварелью. В 1938 году окончил отделение книги Полиграфического института.

Он ушел в ополчение осенью 1941 года.

Иван тоже рисовал и гравировал по дереву. Он поступил в Художественный институт. В первого курса его взяли в армию. Художник Ю.Б. Могилевский вспоминал: «В 1942 году, попав в военное училище, я оказался в одном взводе с мальчиком, я думаю, семнадцати с чем-то лет, которого, как оказалось, зовут Иван Фаворский... Он очень резко отличался от всех людей, которые там находились... Я смотрел не него и думал: откуда такой мог получиться мальчик? Как мог получиться такой мальчик? Этот человек особенно, может быть, как-то воспитан, в нем была какая-то необыкновенная чистота и красота... Молчаливый очень. Он молчал часами, может быть, даже и днями... Но когда уж говорил, то это было весомо».

От сыновей с фронта не было вестей. Владимир Андреевич при встрече со знакомыми первым начинал спрашивать обо всем, не давая тем самым заговорить о самом тяжелом для него...

Они не вернулись.

Художник А.А. Бруни говорил, что «Никита был талантливее своего отца и что это был бы чудесный художник, если бы не погиб».

А Иван?

М.В. Фаворская положила среди фронтовых писем Ивана свою записку: «Никитины рисунки детские смотрим и наслаждаемся; Никитины гравюры напечатали, выпустили книгу, о Никите товарищи и товарищи, учившиеся с ним, вспоминают. Он был сложившийся человек, с душой мудрой и широкой. А ты? Кто вспоминает тебя на всей большой земле?»

Блиzkих друзей школьных у тебя не было, среди родных ты ни с кем особенно не дружил, ты уходил один в лес, бродил и думал, и если бы я спросила, о чем, ты, вероятно, не смог бы ответить...»

Никита погиб в ополчении в 1941 году, Иван – под Кенигсбергом 10 февраля 1945 года. Мария Владимировна оставила воспоминания о них. Она писала: «...я почти не занималась искусством, отдавая все время своим детям... когда сыновья погибли, у меня почти нет упреков совести, что я чего-то для них не сделала, ни в материальном, ни в духовном смысле». И еще: «Эти воспоминания есть единственное, что я могу сделать, чтобы осталась память на земле о двух погибших сыновьях».

В 1939 году семья Фаворских переселилась в Москву – сообщество художников построило дом на окраине города, в Новогирееве. Там и сейчас живет дочь Фаворских, которую зовут, как и мать, Марией Владимировной (в отличие от матери ее называют Фаворской-Шаховской – она вышла замуж за скульптора Дмитрия Михайловича Шаховского, сына друзей ее родителей). Она художница-керамистка.

Владимир Андреевич прожил в доме в Новогирееве четверть века. Художник О.В. Васильев вспоминал о посещении этого дома: «Мне помнится "дом на краю" среди деревьев, то ли крепость, то ли храм. За домом пустота, мрак и безвременье. Церкви и крепости обычно – пусты, полуразрушены и охраняются государством. Дом – населен, живет напряженной художественной жизнью и может, видимо, постоять за себя... На улице холодно, метет. В доме – свет и тепло».

В течение жизни В.А. Фаворский много занимался гравюрой, преимущественно ксилографией. Сделал очень известные иллюстрации к «Слову о полку Игореве», «Борису Годунову» и «Маленьким трагедиям» Пушкина, стихотворениям Роберта Бернса и другим книгам. Работал он и как театральный художник, занимался также монументальным искусством (фрески, граффито, мозаики). После себя он оставил много учеников. Его друг, художник П.Я. Павлинов как-то сказал, обращаясь к одному из них: «Вы должны понять и осознать все великое счастье свое, – не то что вы у него учитесь, а что вы можете сказать: этот человек существует, и я стою возле него и могу дотронуться до его одежды».

Фаворскому пришлось оставить преподавание в 1938 году, когда усилились гонения на «формалистов». Во время Великой Отечественной войны он снова преподавал во время эвакуации в Самарканде, затем продолжил эту работу в Москве до 1948 года. В дальнейшем работал только как художник. «Фаворский жил трудной творческой жизнью и совмещал ее с борьбой за существование и бытовыми заботами. Мария Владимировна не выдержала потери детей и заболела... В то же время нужно было зарабатывать деньги для семьи и кругом было много нуждающихся людей (тогда жили бедно), опорой которых был Фаворский. Среди них и родные, и товарищи, и студенты, и совсем незнакомые люди приходили в своеобразный дом, который возвышался над маленькими жилищами

тогдашних окраин Измайловского парка. Приходили не потому, что Фаворский был богат, а потому, что им нужно было помочь, и он щедро делился. Доброта – быть может, главное качество Фаворского-человека», – писал один из мемуаристов.

«Его жизнь, его путь в искусстве не были легкими. Когда на диспутах над его головой разражались жестокие споры, так как искусство его никого не оставляло равнодушным, и выступающие "за" и "против" готовы были разорвать друг друга в клочки, он сидел спокойный и невозмутимый, время от времени поглядывая поверх сдвинутых на кончик носа очков и внимательно зарисовывал в своем блокноте спорящих – того, который "за", и того, который "против"», – писала одна из знакомых.

Д.М. Шаховской считает, что «некоторые критики и художники не любили и не понимали Фаворского отчасти потому, что он не соответствовал сложившемуся (из литературы) представлению о "гении", брызжущем талантом и темпераментом. Огромная творческая сила Фаворского была скрыта от внешнего взгляда скромностью человека и вдумчивостью художника... Владимир Андреевич почти никогда не позволял себе внешне понятного артистизма, он как бы искоренял его в себе».

Художник не переставал работать, пока двигались руки. Уже тяжело больной, когда лишь самые близкие люди с трудом могли различить едва слетавшие с его губ слова, он диктовал свои мысли об искусстве: ведь «всегда, с тех пор, как вошел в мир искусства и понял красоту его, хотел, чтобы другие также видели его, хотел научить их видеть этот мир».

А.С. Симонович и Ефимовы

Рассказ о доме Машинских будет не полон, если не упомянуть об Аделаиде Семеновне – бабушке Марии Владимировны Фаворской-Дервиз, а также ее дочери Нине Яковлевне и зяте Иване Семеновиче Ефимове.

Аделаида Семеновна Симонович (1844–1933) приехала в Сергиев Посада вместе с семьей внучки. Она была педагогом – окончила Бестужевские женские курсы в Петербурге. Именно она открыла первый в России детский сад. Вместе с мужем-врачом, издавала журнал «Детский сад», в котором публиковала свои педагогические статьи, критикуя старые методы воспитания, давала материалы по играм и занятиям с маленькими детьми. Впоследствии статьи из этого журнала были дважды переизданы и легли в основу русской дошкольной педагогики. У самой Аделаиды Семеновны было восемь собственных детей и приемная дочь, которая стала женой В.А. Серова.

В 1876 году она организовала в Петербурге «Элементарную частную школу». Там преподавали художники, в том числе ее племянник В.А. Серов и В.Д. Дервиз, за которого вышла замуж одна из ее дочерей – Надежда Яковлевна. Вскоре семья Дервиза переселилась в Тверскую губернию, где Владимир Дмитриевич купил имение Домотканово. В соседнем селе Калачово он организовал школу, которой стала заведовать и преподавать в ней Аделаида Семеновна. Жила же она вместе с несколькими своими дочерьми в усадьбе.

В 1918 году все обитатели усадьбы были выселены. В виде исключения Аделаиде Семеновне разрешили взять личные вещи, но она не захотела выделяться среди остальных членов семьи и не взяла ничего. В последние годы жизни в Домотканове она стала плохо видеть и в Сергиевом Посаде почти полностью ослепла. Чтобы она все-таки могла писать, правнуки сделали ей из фанеры трафарет с несколькими широкими параллельными прорезями. Она клала фанерку на бумагу, нащупывала прорезь и писала в ней карандашом. До последних минут она сохраняла всю ясность ума и впечатлительность, старалась никого не обременять собою.

Перед ее смертью к ней зашел уезжавший в Москву Фаворский и сказал: «Аделаида Семеновна, я пришел вас поблагодарить». Она, уже очень слабая, спросила: «За что?» – «За ребят, за все, за то, что вы у нас жили». В тот день она скончалась. Ей было 89 лет.

Художница Нина Яковлевна Симонович-Ефимова (1877–1948) часто приезжала к матери в дом на Кооперативной вместе со своим мужем. На ее увлечение живописью, видимо, повлияло знакомство в детские и юношеские годы с В.А. Серовым. Она училась в Париже и в Москве, окончила Училище живописи, ваяния и зодчества. Ее этюды маслом одобрял Фаворский, ее картины хвалил Флоренский. Он сказал ей однажды: «Ваши картины всегда символичны. В них, кроме того, что они изображают, есть и другой смысл, о котором Вы, может быть, и не подозреваете. Тут символика цветов. Вообще, все цвета что-нибудь значат... Все это делает Вашу картину символичной, не в поверхностном смысле (как, например, у Метерлинка), а в настоящем, существующем».

Занималась Симонович-Ефимова и гравюрой, и акварелью. Позже увлеклась театром теней и кукольным театром. Силуэтом она занималась еще в Париже в 1909-1911

годах и считала его серьезным видом графики. А после революции (1918–1919 годы) уже вместе с мужем организовала театр теней в Детском театре Моссовета. Параллельно они создали и новый Советский театр кукол.

Иван Семенович Ефимов (1878–1959), скульптор и живописец, был соавтором Нины Яковлевны во многих областях творчества. Вместе занимались кукольным театром: не только делали кукол, ширмы, занавеси, но и сами были кукловодами – все роли играли вдвоем. Многие пьесы для кукольного театра тоже писали сами. А в конце 1920-х годов изобрели кукол «на тростях».

Со своим театром Ефимовы разъезжали по Москве и Московской области, по Тамбовщине, плавали на агитационной барже по Волге и Каме. Давали спектакли и в Сергиевом Посаде. В письмах к сыну Адриану Нина Яковлевна делилась своими впечатлениями о городе. Так, 20 декабря 1920 года она сообщала: «Пишу из Троице-Сергия, куда мы приехали "отдыхать", но на нас навьючили 20 спектаклей в 12 дней, значит, каждый день больше одного раза.

Но зато тут красиво, замечательно. Розовые башни Лавры освещены утренним ярким солнцем, розовым же – волшебство! Да еще иней, везде каскады белых деревьев. Удивительно...».

А 28 мая 1931 года она писала: «Мы шли по необъятной длины зеленой долине, в середине которой блестела узенькая речка. Солнце весело освещало густую, мягкую зелень, оттеня холмики и склоны.

Необыкновенно душистый ветер овеивал со всех сторон.

По другую сторону речки живописно паслось многочисленное стадо.

Вдруг из-за холма по ту сторону реки появилась густая толпа чисто приодетых женщин – молодых и старых, которые нескладно пели высокими голосами что-то дикое. Впереди несли большую березку, украшенную красными клочками тряпок и лент. Дальше оказалась еще такая же толпа, но с несколькими березками, которые они уже воткнули кружком на склоне около пастухов и, расположившись кучками, танцевали, образуя хоромы. Держась за руки, они прыгали весело, но довольно по-козлиному. Несколько дальше были еще такие же хоромы. Пенье тех и других смешивалось и казалось воем ветра в ушах, так высоки были звуки.

Одна женщина с ведром доила корову – близко от нас, хотя по другую сторону речки. Мы спросили: "Что это тут происходит?" Она ответила: "Семика, сегодня четверг, а в воскресенье – Троица. В четверг всегда бывает Семика".

Другая, сильно беременная женщина шла по нашей тропинке с ведром надоенного молока и объяснила, что это женский праздник, что всегда угощают пастухов все женщины, у которых тут коровы. Приносят водку, все выпивают, дарят пастухам яйца и по три рубля с каждой коровы (коров тут около двухсот – пастухи довольны). Потом каждая женщина уносит домой прутик от этих березок.

Ты думаешь, это из Аксакова или Геродота? Нет – Загорск, сегодня. Речка называется Кончура.

Я ездила в Загорск на три дня. Никогда не дышала таким ароматным воздухом. Должна была вернуться сегодня утром, но все пропускала и пропускала поезда и оставалась...».

Один из спектаклей, данных Ефимовыми в Сергиевом Посаде, посмотрел П.А. Флоренский. Он так описал само событие и приготовление к нему: «Накрапывал летний дождь. Следовало думать, что назначенное под открытым небом представление петрушек не состоится. Тем не менее приглашенные, а за ними и мы пробирались между гряд маленького огорода. Потом пришлось спускаться в глубокую, со скользкими глинистыми скатами канаву и переходить по жердочке. Но действительно, преодолеть эти трудности было необходимо: для представления был избран заброшенный сад с березовой аллеей и прудком, расположенный на склоне и уединенный, словно отрезанный от и без того уединенной Красюковской улицы отрезанного от общей жизни Сергиева Посада. На склоне толпились дети и взрослые, и чувствовалась в этих кучках всех возрастов от грудного до старости, какая-то торжественность, – ожидание, какое бывает накануне необыкновенных дней в семьях с отстоявшимся ритмом домашнего уклада...

Право, человеку, чтобы испытать волнующую радость, надо очень немного: десятка два деревьев и плотный высокий забор вместе с канавою и переправами оказались достаточною изоляцией от всевозможных тревог, жизненной усталости и бесконечных забот о существовании в это трудное время. Революция и разруха 1922 года, и скудость, и неверность жизни во всех ее сторонах – все это осталось по ту сторону забора.

Когда же небо вдруг расчистилось, и омытое, склонявшееся к вечеру солнце осветило березы, пеструю толпу и несколько красивых лоскутов старинных тканей, с нежностью переданных Ефимовыми из бабушкиных сундуков в мир Петрушек, – как солнечный луч засветилась в сознании живая сказка. Балаганчик, и Петрушка, и окружавшие театр дети – все вместе построенное в одно художество, которое больше, чем художество, потому что тут, помимо предвзятого намерения исполнителей, звучат вещи голоса души и проскальзывают тайные силы природы. Слова, в других обстоятельствах оставшиеся бы незаметными, в этой обстановке и от лица кукол сказанные, получают неожиданный вес, и народные изречения слышатся действительно, как сгущенная жизненная мудрость. Куклы из тряпок, кусков дерева и бумажной массы совершенно явно оживают и действуют самостоятельно...

Кукольный театр есть очаг, питаемый сокровенным в нас нашим детством ...через кукольный театр мы вновь, хотя бы и смутно, видим утраченный Эдем и потому вновь вступаем в общение друг с другом в самом заветном, что храним обычно, каждый про себя, как тайну – не только от других, но и себя самого. Сияющий в лучах закатного солнца, театр открывается окном в вечно живое детство».

Спектакль вызвал размышления Флоренского о празднике вообще, размышления неожиданные: «Праздник – от праздный, то есть пустой, незанятый; и весьма нередко достаточно снять грузы привычного и мелочно-повседневного, чтобы тут же вышли наружу задавленные ими и вешнее знание, и чувство коренной связи с миром, и близкая к экстатической радость бытия. Вопреки тому, как думают обычно, мучая себя, праздник нуждается не в попечениях, а в свободе от них. И эта свобода прежде всего и больше всего осуществляется строгою изоляцией от будней». Он сетовал на то, что в нашей жизни праздники оказались не ограничены каменной стеной от будней. И в результате «...мы

перестали видеть солнце, жизнь потускнела и иссякла, и мир отравился скукой». В кукольных спектаклях Ефимовых Флоренский увидел праздник, в кукольном представлении – мистерию преображения мира.

«Граф'ы» на Красюковке

Улица Красюковка в Сергиеве...

Во время революции на этой улице собралась прежняя знать, князья, графы и постепенно дошли здесь до полной нищеты, получив от населения общее имя «граф'ы».

М.М. Пришвин

В 1920-е годы на Красюковке – восточной части Сергиева – жили люди со знаменитыми фамилиями, люди, чьи предки оставили заметный след в истории России: Истомины, Лопухины, Нарышкины, Трубецкие, Голицыны, Мещерские, Челищевы и другие.

Истомины и князь И.С.Мещерский

Петр Владимирович Истомин (1880–1937) происходил из старинного дворянского рода, в котором особенно прославился участник Севастопольской обороны контр-адмирал Владимир Иванович Истомин. П.В. Истомин окончил юридический факультет Московского университета, участвовал в Русско-японской войне и был награжден георгиевским оружием. Потом служил в Москве и Петербурге – в департаменте иностранных вероисповеданий, был товарищем обер-прокурора Святейшего Синода в то время, когда пост обер-прокурора занимал Александр Дмитриевич Самарин (1915 г.). Затем наместник Кавказа великий князь Николай Николаевич пригласил его на должность заведующего канцелярией. После Февральской революции Николай Николаевич предлагал Истомину уехать с семьей за границу, но он на это не согласился. Летом 1917 года по приглашению Комаровских, с которыми он познакомился в Тифлисе, переехал в Измалково, подмосковное имение В.Ф. Комаровской.

В Измалкове Комаровские, Истомины и родственники Комаровских Осоргины прожили около шести лет. В 1923 году все они были выселены из имения, и семья Истоминых переехала в Сергиев. Жили они сначала в доме Анатолия Александровича Александрова на Бульварной улице, потом – в доме напротив, у Марии Виссарионовны Алексеевой.

Петр Владимирович сблизился с настоятелем Гефсиманского скита о. Израилем: помогал ему юридическими советами, писал для него документы. Вся семья часто бывала на богослужениях в скиту. Ксения Петровна Истомина (в замужестве Трубецкая) вспоминала: «Длилось богослужение по нескольку часов, но отец выстаивал их с нами полностью. После обедни мы часто пили чай у игумена Израиля. Его кельи были расположены налево от церкви, под одной с ней кровлею. Оконце в спальне отца Израиля выходило близ алтаря в церкви. Так что он мог выслушать богослужение в своей келье...

Игумен Израиль не раз бывал у нас дома. Вспоминаю один его приезд на Рождество Христово, моленное пение и чтение в нашей комнате, а под окном кто-то из гостей увидел в палисаднике жившего по соседству сотрудника ГПУ».

«Петр Владимирович был одним из самых благороднейших и честнейших людей, каких я знал, – писал Сергей Михайлович Голицын. – Он считал, раз присягал царю, значит, не может служить Советской власти, и не пускал детей в безбожную школу, а сам их учил вплоть до 9-го класса, потом они благополучно сдавали экстерном: такой способ образования тогда разрешался. Во время НЭПа Петр Владимирович зарабатывал тем, что покупал драгоценности у бывших людей и продавал их нэпманам и иностранцам, оставляя себе какой-то определенный процент».

В ноябре 1925 года Истомина арестовали за то, что он вместе с Александром Дмитриевичем Самариным и одним из священников написал письмо Патриарху Сергию (Страгородскому), убеждая его не идти на уступки советской власти. Истомин сидел на Лубянке, причем 100 дней – в одиночной камере. Там к нему приходила мышь, он ее подкармливал и радовался ей. После его перевели в общую камеру. Уголовники относились к нему хорошо и даже не давали выносить «парашу», когда наступала его очередь, и выполнять другие, особенно грязные работы в камере.

Его приговорили к трем годам заключения на Соловках. Там первым ему встретился архиепископ Илларион (Троицкий). Владыка был в рыбацкой одежде и в высоких сапогах «бахилах». Он благословил Истомина и сказал: «Вот, Петр Владимирович, апостолы сперва были рыбаками, а потом апостолами, а мы сперва епископами, а теперь рыбаками». Истомин попал в «церковную роту», в которой было 18 епископов. Летом 1926 года к нему приезжала жена, Софья Ивановна (1886–1962). В это время на Соловках состоялся собор епископов (их количество обеспечивало кворум). Собор принял обращение к Патриарху Сергию. Передать его решили через Софью Ивановну. Она должна была заучить обращение наизусть. Архиепископ Илларион и Петр Владимирович сидели с Софьей Ивановной на больших белых камнях на берегу моря и проверяли ее. Она запомнила обращение без ошибок. Приехав в Москву, Софья Ивановна пересказала его Патриарху.

Срок пребывания Истомина на Соловках заканчивался в декабре 1928 года. Но зимой сообщения с материком не было, и его, как и других заключенных, подлежавших скорому освобождению, уже в конце лета вывезли на берег, на лесозаготовки. Его дочь, вспоминая рассказы отца, писала: «По ночам лесорубы спали у костров – на таких лесных участках могли даже не возводить бараков. За день надо было спилить и сложить определенное количество леса, за это выдавался хлеб и какой-нибудь приварок. Перевыполнение задания поощрялось незначительным увеличением пайка, а невыполнение – его урезыванием. При этом повторная недоработка на следующий день приводила к сокращению не только сегодняшнего пайка, засчитывалась и старая (скажем, вчерашняя, а то и более давняя) недоимка. В результате человек выпутаться из этого не мог, так как сокращение и без того скудного пайка часто лишало его возможности наверстать упущенное. Тогда заключенного переставали подпускать к костру, и за ночь человек замерзал».

В лагерь доставили кого-то из московского (художественного?) театра, по-моему, режиссера. Его взяли прямо с работы, чуть не во фраке и узких лакированных башмаках, последние помню точно. В таком виде его вывели на лесозаготовку, через три дня перестали подпускать к костру». Петр Владимирович тогда не был задействован на общих работах, он работал счетоводом в вагоне-лавке.

Вернуться в Сергиев Посад ему не пришлось. Софья Ивановна с детьми Сергеем и Ксенией жила там до мая 1928 года (еще в 1926 году они были объявлены лишенцами), когда она и ее восемнадцатилетний сын Сергей были арестованы. Перед этим кто-то выстрелил в окно зав. агитпропа Сергиевского укома ВКП (б), возможно, ревнивая жена, и по этому делу было арестовано 80 человек. На вопрос следователя, он ли это стрелял, Сергей ответил: «Я бы не промазал, я бы попал». Истомины получили «минус шесть», то есть запрещение жить в шести городах и областях, и уехали в Тверь. А в конце 1928 года в Тверь приехал и Петр Владимирович.

Сергей Голицын, побывавший в этом городе у своих родных, писал, что Истомины жили тем, что вязали чулки. Этот промысел придумал другой живший в Сергиевом Посаде, тоже «бывший» – Алексей Лопухин (о нем будет рассказано ниже). Истомин купил чулочную машину, но трудно было достать нитки. Одна только несовершеннолетняя Ксения Истомина имела право покидать Тверь. Она и ездила в Москву за нитками и отвозила готовые чулки. Нитки были, вероятно, краденые. И это скрывали от Петра Владимировича, человека безупречной честности.

«Жили Истомины в Твери, – писал С.М. Голицын, – в сыром, неуютном подвале, в комнате, в которой все стены были увешаны иконами и фотографиями. Петр Владимирович, невысокого роста брюнет с прозрачным пенсне на небольшом носу, встретил меня очень сердечно... В тот вечер он много мне рассказывал о соловецкой, до 1929 года, относительно свободной жизни, о тамошнем быте. У него был очень характерный, слегка надтреснутый, невозмутимый при любых обстоятельствах голос. Он показывал мне совершенно уникальные соловецкие фотографии, на одной из них он сидел вместе с тремя митрополитами, которые призваны были возглавлять православную церковь, а на самом деле жили вдали от церковных дел...».

В 1929 году, по воспоминаниям Ксении Истоминой (в замужестве Трубецкой), ссыльных лишили хлебных карточек, дав возможность покупать хлеб в одном ларьке, где его застать было крайне трудно. Хлеб она стала привозить из Москвы, где добрые люди делились своими карточками. В конце 1931 года, когда кончился трехлетний срок высылки, семья Истоминых уехала из Твери и поселилась под Москвой, на станции Катуар Киевской железной дороги. В следующем году началась паспортизация. Истоминым, как лишенцам, паспортов не дали. Из-под Москвы пришлось уехать.

Переехали они в Орел, где тогда отбывал после Соловков свои «минус шесть» князь Иван Сергеевич Мещерский (1893–1937), в прошлом офицер лейб-гусарского полка. В Сергиевом Посаде он с женой жил по соседству с Истоминными, а три его тетки – в истоминском доме. Известный историк Н.П. Анциферов писал о своей встрече с Мещерским на Соловках: «...Иван Сергеевич был благородный, стойкий человек. Внешне он походил на древнерусского князя с новгородской иконы. Как он мужественно

переносил все невзгоды, все беды! Мне очень нравилась его манера себя держать, столько в нем было достоинства, внутреннего спокойствия».

В Орле Мещерский помогал очень многим, сам ведя образ жизни предельно скромный. Это были голодные годы. Продукты можно было купить только в торгсине. А у Ивана Сергеевича было много родственников, от которых он получал валюту на торгсин. Однажды к нему пришел нищий монах, которому посоветовали отбывать после Соловков «минус шесть» именно в Орле, «потому что там есть такой князь, который всех нуждающихся поддерживает».

Позвал Мещерский в Орел и Истоминых. Жили они в Орле на средства, которые получали из-за границы – им посылали валюту для торгсина итальянская королева и сын бывшего сослуживца Истомина, князя В.Н. Орлова. Помогал им и Мещерский.

Зимой 1934 года в Орле были проведены аресты. Взяли Петра Владимировича и его детей, а также и Мещерского. Их обвинили в создании монархическо-религиозной организации. Кроме того, к Истоминым незадолго до ареста приезжал Алексей Комаровский. Следователь утверждал на допросе, что это был японский шпион.

Ксения Истомина (Трубецкая) вспоминала: «Содержали нас сперва в орловской тюрьме, которая была знаменита тем, что в ней в свое время сидел Дзержинский. Нас водили в музей-камеру и показывали ее с какими-то рассказами о тяжести его заключения. В камере была одна койка, стол и стул. Мы сидели в такой же по размеру камере вчетвером, спали на голых нарах. Кроме того, тюрьму плохо отапливали, а потом, пока еще лежал снег, в камере вынули раму, так что осталась одна решетка, и было очень холодно. А рамы, как нам пояснили, использовали для парников. Моя мать и Екатерина Александровна Мещерская, жена Ивана Сергеевича, приносили нам прекрасные передачи. Охрана с удовольствием принимала мелкие взятки, в особенности папиросы, и начала нам потакать. Все это были, конечно, пустяки, и сводились они, главным образом, к коротким встречам друг с другом. Однако начальство разгневалось, и нас перевели из Орла в Воронеж, в тюрьму со строгим названием "особого назначения"».

Заключение продолжалось около трех месяцев, после чего Истомины получили по три года ссылки в город Кокчетав (Казахстан). Там Петр Владимирович впервые поступил на государственную службу – бухгалтером в кинематограф. С всегдашней добросовестностью он тщательно изучил бухгалтерию по специальным пособиям. Его сын Сергей почти самостоятельно изучил к тому времени математику и стал ее преподавать в школе механизаторов. Ксения поступила на завод счетоводом.

Жили они у озера Коп, где было много рыбы. Петр Владимирович раньше очень любил ловить рыбу, но здесь, поймав 2–3 рыбины на удочку, бросил это занятие. Он объяснил потом, что не может больше вытаскивать крючок из живой, трепещущей в руках рыбы.

Здесь случилось несчастье: Сергей, выпив воды из озера, заболел тифом и через несколько дней умер в больнице. Недели через две после его кончины его отец сказал: «Слава Богу, что Сергей скончался. Этим он избавлен от многих страданий».

В конце декабря 1936 года Петра Владимировича вновь арестовали. Вспоминая отца, Ксения писала: «Отец был полностью предан семье и уделял ей большое внимание, но долг служебный, а позднее неуклонное выполнение того, что составляло его

убеждения, превышали отношение к семье. Подтверждается это постоянным бесстрашием, которое часто угрожало его свободе. Не было случая, в котором бы он смолчал, если речь заходила о вопросах, связанных с его убеждениями...

Одевался он всегда (подразумеваю годы нужды), я бы сказала, строго. Так, неизменно носил под курткой белую рубашку с галстуком. Был решительно во всем очень аккуратен. Думаю, у Истоминых строгий во всем порядок отчасти объяснялся морским родством – теснота кают приучила все держать на своем месте.

С внешней упорядоченностью сочеталась... редкая вежливость и даже почтительность не только к любому взрослому человеку, но и к ребенку. Никогда отец не говорил громко и не производил резких движений, если мог этим кого-либо обеспокоить; уступал места настолько часто и в необязательных случаях, что, помню, мы с братом на это даже иногда досадовали.

На письма отец отвечал безотлагательно, писал их прекрасно и даже в не очень значительных случаях нередко сперва составлял черновики. Знаю, что и на службах его ценили за красоту и ясность слога... Когда отец сидел за столом с людьми, он неизменно привлекал внимание окружающих и очень часто возглавлял беседу.

Отец очень любил деревню и искусно составлял букеты из самых простых цветов, в которые непременно входила белая и розовая кашка...».

После ареста Петра Владимировича в конце 1936 года о нем никаких сведений не было. Видимо, он погиб в 1937 году.

А Мещерский, проходивший с ним в 1934 году по одному делу, попал на Колыму. Там он дошел до полного истощения, ослеп и был пристрелен конвоиром, которому лень было перегонять его куда-то по назначению. Об этом рассказал Ксении Петровне через много лет муж ее двоюродной сестры, который после отбытия срока работал на Колыме вольнонаемным.

Лопухины

Алексей Сергеевич Лопухин (1882–конец 1966) стал известен в Сергиевом Посаде благодаря тому, что придумал вязать чулки «железная пятка». Он купил чулочновязальную машину, быстро ее освоил и модернизировал: вынул каждую пятую вязальную спицу, и чулок получался ажурный, с прозрачными продольными полосками, а пятку вязал в два слоя, поэтому чулок получался долговечным.

Попал же С. Лопухин с семьей в Сергиев Посад, на Красюковку, из Тульской тюрьмы. Был он, по словам его племянника С.М. Голицына, мечтатель, идеалист, хороший человек, но уж очень инертный, его сравнивали с Обломовым. Он имел университетское образование. Когда началась Первая мировая война, попал на турецкий фронт, работал в службе тыла. Не ушел с отступающей белой армией, видимо, просто потому, что любил сидеть на месте. Остался в Нальчике, занимал, как и при белых, должность мирового судьи. Там он и женился на сестре милосердия, баронессе Фекле Богдановне Мейендорф.

С должности судьи его скоро выгнали. Дело было так. В первые годы революции ни гражданского, ни уголовного кодекса не было. Честные судьи решали дело в соответствии со здравым смыслом и законами царского времени. Но существовала еще и так называемая «революционная законность», которую нормальные юристы считали произволом. Однажды к С.А. Лопухину привели двух арестованных. Одного из них обвиняли в том, что он «бывший граф», а другого привлекли «за соучастие». Лопухин не нашел в их действиях состава преступления, тем более, что никто из них не был графом, и распорядился их освободить. Вот за эту «мягкотелость» его и выгнали.

В Тульской губернии у Лопухиных было имение Хилково с большим фруктовым садом. В то время власти решили сдавать в аренду бывшие помещичьи сады, причем преимущественно прежним владельцам. Сестра А.С. Лопухина, Анна Сергеевна Голицына, жившая тогда с семьей в Богородицке Тульской губернии, смогла получить мандат на сдачу фруктового сада в Хилкове своему брату и одному богородицкому купцу. И Лопухин с женой и ребенком приехал туда из Нальчика. В Хилкове он снял избу. Лопухинский сад – яблони, груши и вишни – занимал 14 десятин. Вот что писал С.М. Голицын, ребенком гостивший у своего дяди: «Как разнообразны были сорта яблок в Хилкове – по форме, по окраске, по вкусу! Летние сорта – грушовка, ранет, аркат, анис, коричное, белый налив, мирончики, колобовка. А основными сортами являлись зимние, поспевавшие позднее и сохранявшиеся до весны: боровинка, титовка, скрижапель, пепин, апорт и особенно вкусный штрифель и царица яблок – несколько разновидностей антоновки, окраски от бледно-желтой до оранжевой. Сейчас в Москве продаются, может быть, и красивые, но пресные и совсем безвкусные разные заморские яблоки. А русские яблоки моего детства изредка попадают лишь на рынке у частных».

В 1924 году Алексея Сергеевича арестовали. Он повез яблоки на продажу в Москву (в том году урожай был скромный) и заодно захватил послание Патриарху Тихону, написанное несколькими священниками. Священники изъявляли покорность Патриарху и сообщали, что подчиняться «Живой церкви» не будут. Когда Лопухин вернулся, он и был арестован.

Благодаря хлопотам сестры – Анны Сергеевны Голицыной он был освобожден, но оставаться в своем бывшем имении ему было невозможно. Так оказался Лопухин в Сергиевом Посаде, где уже жило много его родных и знакомых.

Вскоре половина посадских женщин щеголяла в изготовленных им чулках, возил он чулки и в Москву. А его энергичная, никогда не падавшая духом жена в промежутках между приготовлением пищи, посещением лавки, стиркой и другими хозяйственными делами, успевала еще и крутить чулочную машину.

В мае 1928 года А.С. Лопухина, как бывшего аристократа и помещика, арестовали в числе тех 80-ти человек, которые проходили по так называемому делу «Антисоветской группы черносотенных элементов в г. Сергиево Московской области». Его выслали в Тверь. Там он продолжал вязать чулки, пока не догадался, что нитки, из которых их делали, были крадеными. Будучи честным человеком, к тому же юристом, он возмутился и отказался от такого заработка. Ему удалось поступить в Тверской горкомхоз на должность «пробёра». Ежедневно, без выходных, он брал пробы воды в Волге и ее притоках, для чего ему приходилось проходить вест пятнадцать. Жена сшила ему из мешка специальный пояс с восемью карманами – по числу мест, из которых надо было брать пробы. «Тяжело ему приходилось зимой, бутылки он сберегал от мороза, согревая их теплом своего тела, но вынужден был таскать с собой пешню, чтобы пробивать лед. Заведующий лабораторией мог быть спокоен: пробёр доставал воду в точно указанных местах. Заработок его был небольшой, но зато он получал продовольственные карточки на себя, на жену, на детей и на верную, всюду их сопровождавшую няню Ганю...». (С.М. Голицын).

В 1935 году братья Мейендорфы выкупили за валюту свою сестру, ее мужа – Алексея Сергеевича Лопухина и семерых их детей. Они уехали в Эстонию, где у Мейендорфов был родовый замок. С.М. Голицын писал, что перед отъездом Алексей Сергеевич приезжал прощаться – жалкий, удрученный, не знающий, что его ждет.

Когда наши войска заняли Эстонию, Лопухиным удалось получить разрешение на выезд в Германию (жена Лопухина была немкой), и они уехали в Берлин. Май 1945 года Лопухины встретили там. Потом семья переехала в Америку. Оттуда А.С. Лопухин прислал письмо, «... он вспоминал, в какой нищете жил и плодил детей, писал, что все они завели свои семьи, все остались православными, у всех просторные квартиры, все имеют по две автомашины, у всех много детей. И он сам над ними – как глава многочисленного рода. Ни мы не знаем своих двоюродных, ни они нас не знают...».

Этими словами писатель закончил рассказ о своем дяде А.С. Лопухине.

Прошло несколько лет, и выяснилось, что одна из его дочерей, Татьяна Алексеевна, вместе с мужем много лет занималась изданием русских духовных, исторических и мемуарных трудов, обеспечивала русской литературой русские приходы в США. А в годы тоталитаризма они переправляли в нашу страну запрещенные книги, в том числе книги о репрессиях, о преследованиях священников и верующих.

Другие дети Лопухина – Сергей и Елена со своим мужем занимались созданием и развитием воскресных школ для детей русских эмигрантов в США, составляли для этих

школ учебные пособия. Они не забыли Россию, которую вынуждены были покинуть малыми детьми.

Нарышкины

Летом 1926 года в газетах был опубликован список 20 расстрелянных, среди которых был и Владимир Нарышкин – бывший лейб-гусар, потерявший на войне ногу. Расстрелян он был через три дня после ареста. Вскоре в Сергиев Посад вместе с сыном Алешей приехала Софья Павловна, его жена.

С.М. Голицын так описывает карандашный портрет, увиденный им на выставке, под которым стояла подпись: «Портрет мальчика (1926 г.), Фаворский»: «Сидел, вытянувшись вперед, мальчик с тоненькими, странно изогнутыми голыми ручками и остроугольными плечиками, на тоненьких ножках коротенькие штанишки; поражали его большие удивленные глаза, и рот был удивленно раскрыт... Я узнал Алешу Нарышкина. В этом потрясающем портрете простым карандашом Фаворский сумел уловить не скорбь, а словно бы удивление мальчика, который делится с друзьями своею новостью: "А знаете, на прошлой неделе мой папа был убит большевиками..."».

Алеше было 10 лет.

Казнили этих двадцать человек в ответ на террористический акт (в здание на Лубянке кем-то была подложена бомба, взрывом оторвало кусок стены, жертв не было).

Нарышкиных сначала приютили Трубецкие, потом им нашли жилье поблизости, на Красюковке, в угловом доме напротив церкви Михаила Архангела.

С Алешей подружился Андрей Трубецкой. «Насколько я представляю и понимаю Алешку, – вспоминал А.В. Трубецкой, – в нем уже тогда чувствовался какой-то надрыв. Возможно, это объяснялось тем, что его отец расстрелян... Список расстрелянных опубликован в газетах, и уличные мальчишки дразнили Алешку: "Отец расстрелян!" На этой ли почве или это только усугубило, но мать Алешки была не совсем "в себе". Все это, конечно, сказывалось на сыне».

В начале 1930-х годов Нарышкины уехали за границу – их выкупил за большие деньги родственник, Н.С. Арсеньев. В 1943 году Андрей Владимирович Трубецкой встретился с другом детства в Берлине. Алексей Нарышкин расспрашивал о Тате (Александре), сестре Андрея Владимировича, о ее судьбе. «Вскоре после того, как отец и старшая сестра Варя исчезли из нашего дома, – рассказывал А.В. Трубецкой, – Татю вызвали в городское управление НКВД, откуда она уже не вернулась. Ей было тогда восемнадцать лет (в 1937 году – Т.С.), и она только что вышла замуж за однокурсника с рабфака. А через некоторое время к нам домой пришла женщина, сидевшая с Татей в одной камере. Она рассказала, что от сестры требовали оклеветать отца и Варю. Татя отказалась, и ее оставили на десять лет. О дальнейшей судьбе Тати я знал только, что она в лагере под Соликамском.

Алешка все это выслушал весь притихший, не прерывая меня ни звуком, а потом после долгого молчания спросил: "Вспоминала ли она меня? А если б я остался, пошла бы за меня замуж?" Я, нисколько не думая его задеть, очень спокойно, даже с какой-то равнодушной усмешкой, как вспоминают детские причуды, что нет, насколько я помню,

она его не любила. Он отвернулся и тихо заплакал. Я никак не ожидал этого и был потрясен, стал как-то неумело успокаивать и утешать его, что что-то вроде и было... Он, видимо, мне отчасти поверил, ведь мы с сестрой дружили, как никто в нашей большой семье. Успокоившись и придя в себя, Алешка сказал, что это были самые лучшие годы его жизни, несмотря ни на голод, ни на гонения и притеснения, которые они с матерью пережили. И опять мы вспоминали нашу мальчишескую жизнь, дружбу, и чувствовалось, что это, действительно, его лучшие воспоминания в жизни. После выезда из Советского Союза он жил в Швейцарии у чопорных теток, чужой в чужой среде. Потом переехал в Берлин к тете Оле и дяде Васе (Арсеньевым. – Т.С.), тоже без друзей и товарищей с единственными помыслами и мечтами о далекой, детской чистой любви.

Сойдясь в эти дни с ним поближе, я увидел, что он душевно надломлен, что он неудачник, который не смог выбраться и найти место в жизни, хотя это был очень способный и умный парень. Я думаю, останься он в России, то и тут его бы в порошок стерли и уничтожили, если не физически, то морально...».

А Татя умерла в лагере в 1943 году.

Челищевы

После 1917 года судьба порой соединяла людей, которые могли бы и не встретиться при иных обстоятельствах. «Ты не появился бы на свет, если бы не революция», – говорила сыну Ольга Александровна Челищева (1897–1980), урожденная Грессер. И ее, и ее будущего мужа Федора Алексеевича (1879–1942) судьба занесла после революции в Сергиев Посад, где они впервые познакомились, а потом оба получили «минус» и встретились в высылке во Владимирской области.

Обе семьи – Челищевы и Грессер – старинные, дворянские, обе относятся к родам-выходцам «от немец». Челищевы ведут род от короля Германии, императора Священной Римской империи Оттона IV, потомок которого пришел ко двору Александра Невского. Грессер – из курляндских дворян, пришедших в Россию в царствование Анны Иоанновны. Челищевы, прославившиеся в истории России, стали богатыми московскими помещиками, а Грессеры, известные воинскими подвигами, – питерскими военными сановниками. Это были разные круги общества, до революции мало соприкасавшиеся друг с другом.

Их сын пишет: «Трудно сейчас понять, что их связывало: значительная разница в возрасте, разное воспитание, разный темперамент. Но было и общее: глубокая религиозность, полное неприятие советского образа жизни».

Ф.А. Челищев окончил историко-филологический факультет Московского университета, жил в имении Федяшево Тульской губернии, работал в земстве, участвовал в создании сельских школ. Он много путешествовал по Европе, играл на виолончели, писал стихи. Во время Первой мировой войны был санитаром в Западной армии, а потом его мобилизовали в артиллерию. Вернулся домой в 1918 году. Дом в усадьбе был разграблен: крестьяне вынесли все, кроме книг. Федор Алексеевич и поселился в библиотеке.

К осени 1918 года относится одно из его стихотворений:

*Я гнилушек наберу для света
И огня не буду зажигать.
В них мерцанье золотого лета
Долго-долго будет догорать.
И порой безвременья унылой,
В долгие ненастливые дни
Как привет мне из отчизны милой
Будут эти робкие огни.*

Однако оставаться в усадьбе было опасно, и с матерью он уехал в другое свое имение, потом – в имение родственников. В это время было взято под охрану как музей поместье А.С. Хомякова, известного славянофила и поэта, в селе Богучарове (мать Федора Алексеевича была дочерью Хомякова). Челищев стал хранителем музея своего деда, но вскоре был арестован, а музей закрыли. Его мать переехала в Сергиев Посад, жила на Красюковке, в доме Марии Виссарионовны Алексеевой. Через год Федора Алексеевича выпустили из заключения, и он приехал к матери. Но зимой 1925 года его снова арестовали по так называемому делу «Сергиевской самаринской группировки». Он полгода просидел в Бутырской тюрьме, а потом на три года был сослан в Зырянский край (Коми АССР). После, получив «минус», поселился во Владимире.

Ольга Александровна Грессер воспитание получила в Англии, куда ее отправили в семилетнем возрасте. Вернувшись в Россию, она окончила и курсы иностранных языков, преподавала в гимназии. После Октябрьской революции французский язык был исключен из образовательных программ как буржуазный, и ее уволили. Во время гражданской войны вместе с Белой армией она оказалась на Кавказе. Там она окончила курсы медицинских сестер, участвовала в боях. Потом Ольга Александровна была мобилизована красными и работала в госпитале.

Приехала в Сергиев Посад и в середине 1920-х годов была арестована (арест был связан с разгромом Зосимовой пустыни). В тюрьме ей не давали спать, на допросах светили яркой лампой в глаза. Сослали, потом дали «минус», и она оказалась во Владимире.

Каждые две недели ей надо было ходить отмечаться в милиции, как и Челищеву. Они встретились. Ему был 51 год, ей – 33. Обвенчались в деревенской церкви под Владимиром. Никаких торжеств – пустая церковь, без родных, без друзей. Сняли маленькую комнату, жили в нищете.

С.М. Голицын побывал у Челищевых во Владимире. Он так вспоминал встречу с ними: «Домик, где проживал Федор Алексеевич, находился на склоне горы недалеко от вокзала. И он, и его жена приняли меня, что называется, с распростертыми объятиями. Чудный и чудной был человек милейший Федор Алексеевич – глубоко религиозный, идеалист-философ, бывший тульский помещик... Чем он занимался, не знаю, а к советской власти никак не мог приспособиться, менял должности, учил чьих-то детей и никогда не падал духом. Высокий, чернородый, в очках, он тайно писал стихи, любил потолковать о литературе, о русской истории. А когда я к нему тогда явился, был он еще безмерно счастлив, потому что совсем недавно женился.

Жена его Ольга была под стать ему – такая же глубокая религиозная идеалистка... Ее отец, бывший одесский градоначальник, а также ее сестра и брат где-то отбывали сроки заключения, а она, уже пожилая, вышла замуж за такого же пожилого. И ничего им не было нужно, лишь бы оставили их в покое».

Сын Федора Алексеевича полагает, что главным источником поразительной нравственной стойкости и неиссякаемой жизнерадостности отца была память о светлом прошлом. Постоянно теплилась надежда на весточку, на встречу со своей матерью, которую он так любил. Но им не суждено было встретиться, даже перед ее смертью. Ольга Алексеевна жила в Сергиевом Посаде, куда Федор Алексеевич приехать не мог. Она пережила мужа, четверых детей, многих родных и близких. Была «лишенкой», то есть лишенной избирательного права, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В списках «лишенцев» 1928 года даже не была указана причина лишения, видимо, достаточно было дворянской фамилии. Жила Ольга Алексеевна в одиночестве и нищете. Сын, вызванный из Владимира телеграммой, уже не застал ее в живых.

Он писал:

*...Для меня ты теплила лампаду,
Но час настал, масло догорело.
Тебя зовут... Ты лампадку загасила,
Как перед сном всякий вечер, и тихо вышла,
Никем не видима;
Но на пороге
Ты оглянулась и всех крестом ознаменала,
Всех нас – оставшихся и еще не пришедших.
И в комнате твоей темно и тихо...
И я стою один с глубокой думой...
Ты, видишь ли меня?
Ты близко ль?
Иль отныне
Твоим очам уже не суждено видеть
Земную нашу немощь?!*

Февраль 1933 г. Муром.

9 июня 1933 года у Челищевых родился сын Николай. Крестил ребенка о. Сергей Сидоров. Челищевы жили тогда в Муроме Владимирской области с временной пропиской, под надзором органов. Чтобы прокормить ребенка, сдавали в торгсин остатки семейного серебра – ведь Федор Алексеевич был «лишенцем» и долго не мог получить работу. Подрабатывал уроками, черчением. Но в анкетах на вопрос о социальном происхождении отвечал «из дворян», а не «из служащих», как писало большинство.

«Жизнь была трудной, но небезрадостной, – вспоминает Николай Челищев. – Мои родители, выросшие в атмосфере материальной и душевной комфортности, мужественно переносили бесконечные лишения и моральные правила советской жизни. Все мое ранее детство прошло без электричества. Поэтому долгие зимние вечера сохранились в памяти пятном света от керосиновой лампы или коптилки на столе и таинственным полумраком

вокруг. Нередко топящаяся печка была единственным источником освещения. В такие вечера отец с помощью рук ловко показывал тени различных животных на стене».

А вокруг все было пропитано страхом – надвигались годы большого террора. И порой человек встречался в толпе взглядом с палачом.

*Человек – как и все, коих встретишь всегда,
Так же он и побрит и одет...
Но глаза эти буднично смотрят туда,
К нам, откуда свидетелей нет.*

*И в толпе, где рассеянный взор твой скользит,
По бродящим туда и назад,
Вдруг почувствуешь страшно, что кто-то глядит,
И внезапно ваш встретится взгляд.*

*Отвернется, досадливо дернув плечом,
И улыбка скривится у рта.
Но тебе не забудется долго потом
Этих страшных двух глаз пустота.*

Март 1934 г. Муром.

Вскоре после рождения ребенка Челищевы переехали в село Норское под Ярославлем, где и пережили массовые репрессии 30-х годов. Н.Ф. Челищев пишет: «Отец ходил через замерзшую Волгу пешком в Затон, где он за гроши работал библиотекарем (летом была лодочная переправа). Мать работала в медпункте при ткацкой фабрике, и каждое утро затемно катила меня на санках по заснеженной пятикилометровой дороге в ясли. Сохранились в памяти бледные люди в черных ватниках на расчистке зимней дороги – заключенные и охрана с винтовками в огромных овечьих тулупах».

Дом, где снимали комнату Челищевы, в 1939 году сгорел, все имущество пропало. Приехали в Москву, остановились у родственников – графов Бобринских. Но в Москве для «бывших» жилья не нашлось. Сняли маленькую комнатку на ветхой даче в Мытищах под Москвой. Челищев получил временную работу в Институте истории, философии и литературы в Москве, а его жена работала медсестрой в Мытищах.

Николай Челищев вспоминает: «Новый 1941 год мы встречали в холодной мытищинской комнате черным хлебом с солеными огурцами и чаем со слипшимися кофейными леденцами. Предвоенное «изобилие», о котором любят вспоминать старые большевики, было только для них – в закрытых распределителях, количество которых во время войны еще увеличилось. Для нас же впереди были долгие голодные и холодные военные годы. Мы с отцом вырыли щель в огороде на случай бомбежки, и мать ставила туда молоко. В первый же большой налет я полез в укрытие и разбил банку с молоком».

Осень 1941 года Челищевы провели у Бобринских в Москве, в Трубниковском переулке. Федор Алексеевич по ночам дежурил на крыше во время налетов.

Когда возникла опасность, что сына эвакуируют отдельно от родителей, мать с сыном перебралась в село под Владимиром. Отец приехал к ним позже, по дороге его

начисто обворовали. А то, что еще осталось, пришлось вскоре обменять на продукты. Школа в селе не работала, поэтому к зиме перебрались на окраину Владимира. Мать работала в две смены в психиатрической больнице, отец старался добыть топливо для печки.

Для Федора Алексеевича невзгоды войны оказались выше его сил. Он умер в январе 1942 года от голода, холода и усталости – не выдержало сердце. Его похоронили на кладбище на окраине города, у стен Владимирской тюрьмы.

Его сын долго не мог осознать, что отец умер. Видел его во сне. «Это была тяжелая зима, – вспоминает он. – Морозы не ослабевали... Главными нашими врагами в ту зиму были голод, холод и вши. Подсолнечный жмых казался много вкусней довоенной халвы. Мы затирали числа на карточках и забирали хлеб на неделю вперед. В конце каждого месяца приходилось жить совсем без хлеба. Я опухал от голода. Мать сдавала кровь и скармливала мне паек, который полагался донорам... Весной я посадил на могиле отца маленький клен, принесенный из леса. Мои военные годы во Владимире прошли в беспризорной среде обитателей бараков с матом, курением, драками... Но остались в памяти и походы в лес за черникой, и ночная рыбалка на Клязьме, и помидорная грядка под окном... Когда я с женой и дочерью приехал во Владимир много лет спустя, все кладбище заросло кленами. Могилы отца не было».

Николай Федорович Челищев получил в 12 лет такой наказ от своей тетки, Марии Алексеевны Бобринской: «Коля, всегда помни, что ты – сын своего отца. Пусть кругом лгут, крадут, доносят... Но я сама никогда этого не сделаю, и ты никогда этого не сделаешь, потому что мы – Челищевы».

После войны Николай Федорович жил со своей матерью в Хотькове под Загорском. Она работала в психиатрической больнице. Он окончил среднюю школу с медалью. Но не стал получать гуманитарного образования: «Просто не приходило в голову, что можно профессионально заниматься историей, философией, литературой и другими строго идеологизированными дисциплинами в советских условиях, – пишет он. – Мои сверстники, дети «бывших», и я вместе с другими стали геологами, химиками, нефтяниками, лесниками... Конечно, от этого в стране не стало меньше «историков», «философов», «литераторов»...»

После окончания школы его пытались заставить пойти в училище МВД. Он сбежал из военкомата и отказался от московской прописки. Окончил технический вуз, работал заведующим лабораторией. Дальнейшей карьеры не сделал, потому что был беспартийным. Сейчас живет в Лондоне. В 2000 году опубликовал книгу стихотворений отца со своими комментариями.

В доме Хвостовых

Уютный, чистенький, с красавицей Лаврой городок очень скоро стал нам казаться давно знакомым, родным.

Множество церквей, колокольный звон, ежедневное хождение в церковь Рождества создавали особую духовную обстановку.

С.П. Раевский

Хвостовы

В четыре часа 12 августа 1906 года на даче премьер-министра П.А. Столыпина раздался оглушительный взрыв. «Большая часть дачи взлетела на воздух. Послушались душераздирающие крики раненых, стоны умирающих и пронзительный крик раненых лошадей, привезших преступников. Загорелись деревянные здания, с грохотом падали каменные... А на дорожках, на газоне – повсюду лежали раненые, мертвые тела и части тел: тут нога, тут чей-то палец, там ухо», – так писала об этом террористическом акте дочь Столыпина Мария.

Столыпин уцелел. Сами революционеры, бросившие бомбу, были разорваны в клочья. На месте погибло более тридцати человек, многие умерли в последующие дни от ран в больницах.

Среди убитых был и Сергей Алексеевич Хвостов, служивший в Министерстве внутренних дел, и приехавший в тот день к Столыпину по делам.

«Его жена Анна Ивановна всю жизнь не могла вспоминать без содрогания, как к их дому на Фурштатской набережной, – писал ее племянник С.П. Раевский, – подъехала карета, из которой вышел жандармский офицер и сообщил о том, что произошло. В полной прострации она ехала рядом с ним в это страшное место. Около дачи на Аптекарском острове, оцепленной конными жандармами, стояли толпы людей, раздавались стоны, плач. Анна Ивановна боялась увидеть мертвого мужа, которого они всего два часа назад провожала из дома, веселого, улыбающегося. Ей подумалось, что она увидит обезображенное тело. А он, любимый ее Сережа, лежал на кушетке, как живой, только небольшая царапина на правом виске с запекшейся кровью... Когда она пришла в сознание, рядом сидели три ее старших сына и дочь».

Эта трагедия и стала причиной того, что впоследствии Анна Ивановна купила дом в Сергиевом Посаде. Оставаться в Петербурге, где все напоминало о происшедшем, она не могла, уехала с четырьмя младшими детьми (у нее было шесть сыновей и две дочери) в Москву. Поселилась у своей матери, начальницы Елизаветинского института благородных девиц (потом она сменила ее на этом посту). После гибели мужа религиозные чувства Анны Ивановны стали глубже. Вместе с матерью она часто бывала в Троице-Сергиевой лавре, Черниговском скиту и Зосимовой пустыни, где она обрела духовника – старца Алексия. Общаясь с духовными лицами, совершая молитвы, Анна Ивановна получала утешение в своем горе.

Однажды она подумала, что хорошо бы приобрести дом в Сергиевом Посаде. Кто-то указал ей на деревянный украшенный резьбой дом с мезонином на улице Белой (потом – Красной, а теперь – Шлякова). Она купила его и была очень довольна – здесь можно было остановиться в любое время, на любой срок.

Сначала Анна Ивановна и ее дочь Екатерина приезжали главным образом на праздники, потом стали делать это чаще. Бывала в нем и ее мать, Анна Николаевна Унковская. Появились знакомые – Флоренские, Верховцевы. А после революции вся семья, кроме старшего сына, обосновалась в Сергиевом Посаде. Вскоре двое сыновей – офицеры – поняли, что безопаснее будет уехать на Украину. С ними отправились и двое младших. Анна Ивановна осталась в Посаде с двумя дочерьми – Екатериной и Варварой, сыном Дмитрием и гувернанткой.

Несчастья не оставляли семью. Два сына, служившие в Белой армии, погибли, умерла от тифа Варвара, умер и старший сын. Анна Ивановна приняла постриг, стала монахиней в миру, матерью Анастасией. Приняла постриг и ее дочь Екатерина Сергеевна с именем Иннокентии.

В начале 1923 года закрыли Зосимову пустынь – монастырь верстах двадцати к северу от Троице-Сергиевой лавры. Еще в 1898 году туда приехал будущий старец Алексей. Было ему тогда 52 года. До этого он служил диаконом в церкви Святителя Николая в Толмачах (рядом с Третьяковской галереей), потом – священником в Успенском соборе Кремля. Его все больше тяготила мирская суета. Умерла жена, вырос сын, и он смог осуществить свою мечту – уйти в уединенный монастырь со строгим уставом.

Скоро, узнав о старце, в обитель стали приходить люди. Они шли к отцу Алексию за советом и духовным руководством. В 1908 году из-за плохого здоровья он ушел в полузатвор и принимал только в определенные дни, но людской поток не иссякал. Со всей страны ехали к нему люди всех возрастов и сословий. Кто бы ни пришел к старцу, для всех он находил доброе слово, утешал, ободрял, наставлял.

В 1916 году он ушел в полный затвор, то есть в полное уединение и безмолвие. Настал 1917 год. Старца Алексея пригласили на Всероссийский Поместный Собор. По обычаю, Патриарха выбирали из трех кандидатур по жребию. Высокая честь вытащить жребий была оказана почитаемому всей Россией старцу Алексию. Он и вытащил бумажку с именем митрополита Московского Тихона.

Старец вернулся в свой монастырь. Жизнь в обители текла по-прежнему: совершались богослужения, усерднее, чем прежде, монахи трудились на покосах, в поле, на огороде. Но и сюда доходили страшные вести о преследованиях и расправах над представителями Церкви. В эти годы гонений отец Алексей решил принять более высокий монастырский постриг – схиму.

В 1920 году в Зосимовой пустыни организовали сельскохозяйственную артель. Тогда богослужения еще продолжались, но в 1923 году власти монастырь совсем закрыли и выселили монахов. 77-летний старец остался без крова. Он нашел приют у своих духовных дочерей Верховцевых в Сергиеве.

В это время Анны Ивановны Хвостовой не было в городе – она уезжала за границу повидать двух своих сыновей, которые оказались в эмиграции. В доме оставалась

Екатерина Сергеевна Хвостова, в прошлом фрейлина императрицы, а тогда тайная монахиня мать Иннокентия. Она помогала устраивать монахов Зосимовой пустыни, собирала средства для помощи им. Ее духовник, отец Иннокентий, перешел в тогда еще действовавший монастырь Параклит. А она пригласила к себе в дом престарелого монаха Пантелеймона, келейника скончавшегося игумена Зосимовой пустыни о. Германа. Он принял предложение с условием, что будет работать в доме дворником. Пищу старцу Алексию и его келейнику Макарию готовили в доме Хвостовых. С группой послушниц женского монастыря Екатерина Сергеевна отправлялась в разоренную Зосимову пустынь и собирала оставшуюся, еще не реквизированную церковную утварь и иконы. Собранное прятали в Сергиеве по церквям и домам верующих.

А Анна Ивановна решила вернуться домой, в Россию. На это ей было нужно получить благословение старца Алексия. Тогда он дал его, но она отложила поездку. И когда ее дочь вторично пришла к старцу весной 1924 года, благословения своего он уже не дал, понимая, что обстановка изменилась. Однако Хвостова, оставив сына Дмитрия у родных, все-таки вернулась домой.

Обе они – мать и дочь – были известными людьми в городе. Двухгодичное отсутствие Анны Ивановны и ее возвращение не могли пройти незамеченным. Она, как и раньше, окунулась в церковную жизнь города. Посещала монастыри, принимала у себя монахов разрушенной Зосимовой пустыни, помогала им, чем могла. И не думала о том, что сотрудники ОГПУ следят за ней. Следили и за дочерью. Чекисты рассуждали так: «Зачем госпоже Хвостовой было нужно возвращаться в Советскую Россию? Конечно, получила там задание, а здесь связная – дочь». Налицо все улики. И коллегия ОГПУ выдала ордер на арест.

«В конце февраля 1925 года, поздно вечером, раздался стук в калитку, – вспоминал Раевский. – Яростным лаем заливался Мильтон. Отец Пантелеймон, почуяв недоброе, во двор не вышел. Я быстро накинул пальто, выбежал во двор:

– Кто там?

– Открывайте, милиция!

Вошли двое в шинелях и кубанках.

Жильцы все вскочили с постелей кто в чем. Анна Ивановна была одна, она сидела в комнате в халате, Катя накануне утром уехала в Москву.

Старший из пришедших вынул из сумки ордер на арест:

– Постановление коллегии ГПУ, вы и ваша дочь арестованы!

– Боже, за что же? – едва слышно проговорила тетя Аня.

– Где ваша дочь?

- Она уехала в Москву. Завтра вернется.

– Приступаем к обыску! – скомандовал гэдэушник. – А дочь, как вернется, чтобы сама шла в ГПУ! Понятно?

Обыск шел до самого утра. Рано утром Анну Ивановну отвезли на извозчике на станцию, а там поездом до Москвы, на Лубянку. При обыске изъяли несколько фотографий, в основном священнослужителей, и письмо от детей из-за границы. Екатерина Сергеевна, приехав из Москвы, на следующий день, отправилась в городское ГПУ и, естественно, не вернулась.

На Лубянке не нашлось достаточных материалов, чтобы сфабриковать против Хвостовых серьезное дело. Но не зря же ездили в Сергиев арестовывать двух женщин. Постановили дать им "минус шесть", то есть они могли проживать всюду, кроме шести крупных городов. Хвостовы выбрали Тверь».

Судьбу А.И. Хвостовой в 1990-е годы удалось выяснить ее внучке Наталье Дмитриевне, живущей в Париже. Из Вологодского управления ФСБ она получила документ, что Хвостову снова арестовали в 1937 году, и на следующий день после ареста «тройка» приговорила ее к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение 20 января 1938 года.

С Екатериной Сергеевной Хвостовой в Вологде встретилась будущая схимонахиня Леонтия: «Мать Иннокентия была высокого роста, худая, носила низко повязанный на глаза платок. Речь ее была тихая, мерная, убедительная. Временами была строга и требовательна, а иногда ободряла упавшую духом. Ее старец, постригавший меня в обители в рясофор, благословил ее принять меня под духовное водительство... Будучи исполнена веры и любви к своей старице, я ничего не делала без ее благословения... Я искренне полюбила свою наставницу, и она, видя мою искренность, отвечала мне тем же...

Наступил 1938 год. 23 июля старица моя сказала:

– Завтра ночью проводи приехавших из Москвы двух сестер на вокзал. Они едут в город Данилов к старцу. С вокзала зайди ко мне, расскажешь, как проводила их на поезд.

В три часа ночи я проводила сестер в город Данилов. Солнце только всходило, город спал. Шла, вспоминая обитель, так как было 24 июля, наш храмовый праздник святых мучеников Бориса и Глеба. День предвещал быть ярким и жарким. На душе было тихо; послушание выполнено точно, шла, читая утренние молитвы. Подойдя к дому, увидела взволнованную сестру Валентину, которая предупредила меня, чтобы я не ходила к старице, так как у нее шел обыск. Через несколько часов видела, как повели ее. Я была вне себя – отчаяние овладело мной... Каждую минуту я ждала ареста. От владыки получила наказ: в случае, если матушке Иннокентии дадут вольную ссылку, ехать вместе с ней добровольно. Я любила ее и страдала. Часами в свободное время просиживала у ворот тюрьмы.

Горе мое было велико. Аресты продолжались... Снова я осталась одна».

Это последние сведения о старице Иннокентии, Екатерине Сергеевне Хвостовой; дата ее смерти неизвестна.

Раевский вспоминал, что Е.С. Хвостова, встретившись в конце 1920-х годов с его матерью, пересказала свой разговор со следователем, происходивший на Лубянке в 1925 году: «Следователь требовал, чтобы она выдала, у кого хранятся церковные ценности Зосимовой пустыни, настаивая на том, что у него есть средства заставить ее говорить.

– У вас нет таких средств, – отвечала она. Что бы вы ни сделали, мои страдания будут меньше чем те, которые претерпел Спаситель. Я готова принять любые страдания. Следователь смял протокол допроса и швырнул ей в лицо».

Раевские

В 1922 году в дом Хвостовых по приглашению Анны Ивановны приехала ее сестра, Ольга Ивановна Раевская. Они были дочерьми известного мореплавателя и государственного деятеля Ивана Семеновича Унковского. По словам князя Сергея Дмитриевича Урусова, он «был рыцарь чести, верный и прямой слуга Царю и Отечеству».

Когда в чине адмирала он вышел в отставку, император Александр II, которому требовались для проведения реформ надежные, честные и исполнительные люди, назначил Унковского на должность ярославского губернатора. Находясь смолоду в непрерывных плаваниях, Иван Семенович долгое время не женился и обзавелся семьей только в возрасте 43 лет, поселившись в Ярославле. У него было четыре дочери и сын. О старшей – Анне, вышедшей замуж за орловского помещика С.А. Хвостова, рассказано выше. Младшая, Ольга, вышла замуж за Петра Ивановича Раевского, происходившего из старинного дворянского рода. Он окончил медицинский факультет Московского университета и защитил докторскую диссертацию, работал в Москве. После смерти маленького сына Раевские переехали в родовое имение Бегичевку Рязанской губернии, где Раевский занимался хозяйством. Он организовал амбулаторию, а потом построил и прекрасно оборудовал больницу, где бесплатно лечил больных.

Когда началась Первая мировая война, его мобилизовали в качестве врача в действующую армию. Ольга Ивановна стала медсестрой во фронтовом госпитале. После войны семья Раевских поселилась в Туле, куда еще в 1916 году Петр Иванович был переведен на работу в госпитале, а позже – в село Барятино, где заведовал медпунктом.

В России свирепствовал тиф. Раевский работая на эпидемии, заразился и скончался осенью 1920 года.

«Мы сразу стали ничем, – вспоминал его сын Сергей. – Из фондов медицинского пункта нам временно был выделен какой-то паек. Семья жила впроголодь. Иногда нас, детей, приглашали в гости, где подавалась в изобилии вкусная еда, которую мы успели забыть».

Сыновья Раевского получали домашнее образование. Только весной 1921 года их отдали в школу, открывшуюся в 12 километров от села, в котором жила семья. А в 1922 году Раевские на семейном совете решили покинуть деревню, чтобы дети получили лучшее образование. Младшего мальчика Андрея взяла замужняя дочь Раевских Екатерина, жившая в Туле, семнадцатилетнюю Елену взяла бабушка, Анна Николаевна Унковская, которой власти оставили единственную комнату в ее бывшем собственном доме в одном из арбатских переулков. Ольга Ивановна с сыновьями Сергеем и Михаилом в конце октября 1922 года отправилась в Сергиев Посад. «Уютный, чистенький, с красавицей Лаврой городок очень скоро стал нам казаться давно знакомым, родным – вспоминал С.П. Раевский. – Множество церквей, колокольный звон, ежедневное хождение в церковь Рождества создавали особую духовную обстановку».

В доме Хвостовых жило тогда много людей, в основном женщин и детей. Сергей Петрович Раевский вспоминал: «В первый же день мы познакомились со всеми жителями дома Хвостовых. Их взаимоотношения были такими, что со стороны казалось, будто здесь обитает большая семья. Несмотря на тесноту, в прошлом непривычную для собравшихся здесь семей, никто не роптал на трудности.

Бытовая сторона жизни, во многом проходившей на кухне, регулировалась сама собой, как слаженный точный механизм. Сейчас такие отношения кажутся удивительными, а ведь в двадцатые и тридцатые годы они были обычной нормой поведения. Чем можно объяснить это? Скорее всего – культурой нашего общества, которая в последующие, особенно в послевоенные годы была в значительной степени утрачена».

Мальчики Раевские поступили в Сергиевом Посаде в школу (бывшую мужскую гимназию). После окончания школы бабушка Сергея Раевского нашла ему временную работу в геофизической партии на Курской магнитной аномалии. Потом П.А. Флоренский пригласил его в свою лабораторию материаловедения в Москве.

В 1927 году в столицу переселилась и его мать с сыном Михаилом.

В семье Унковских была аристократическая традиция говорить дома по-английски. На этом языке говорила со своими детьми и Ольга Ивановна. Благодаря этому ее дочь Елена смогла устроиться переводчицей и поехать на строительство Сталинградского тракторного завода, где работали американские специалисты. А сама Ольга Ивановна нашла преподавательскую работу в вузе. Михаил поступил в университет. Казалось – все хорошо. Но подспудно чувствовалась тревога за будущее.

В январе 1931 года С.П. Раевский женился на княжне Елене Юрьевне Урусовой. Ей было 17 лет. Родился сын Кирилл.

Из воспоминаний Раевского: «Наш мальчик рос и обещал быть очаровательным. Какие только ласковые слова ему ни говорили все: и родители, и бабушки, и дяди, и тети.

В стране происходило одно чудо за другим. Строился метрополитен. Крупнейшие архитекторы работали над проектом Дворца Советов на месте взорванного храма Христа Спасителя. Была еще знаменитая эпопея челюскинцев. Так что было чем восторгаться в 1934 году, но только до 1 декабря. С этой даты (дня убийства С.М. Кирова. – Т.С.) пошел для всей нашей страны новый отсчет времени. Я не могу забыть нахлынувшей на меня и мучивший весь 1934 год тревоги за судьбу моей семьи. В канун нового 1935 года неминуемая катастрофа была для меня уже очевидной».

В это время Раевский уже не работал с Флоренским – в 1932 году он поступил на заочное отделение МГУ и в связи с этим перешел в магнитную лабораторию физического факультета. А в середине января 1935 года, вечером, к Раевским пришли с обыском. Он вспоминал: «Мне пришлось взять на руки спящего крепко (слава Богу!) трехлетнего сына, чтобы в его кровати могла копаться омерзительная чекистка. Инсценировка эта продолжалась долго, почти до утра. Потом... Потом – все. Я в последний раз видел лицо своей Лёны. Мы простились, она с грустью на лице улыбнулась.

К этому времени для всех наших близких обыски и аресты были не дивом. Но когда арестовали мою жену – женщину 21 года, всем это показалось чудовищным. И не потому, что она так молода и имеет уже трехлетнего сына, а потому, что ее, такую добрую, ласковую никак нельзя было представить сидящей в тюремной камере».

Все хлопоты о Елене Раевской были тщетны. Сергей Петрович чувствовал, что вот-вот арестуют и его. Так и случилось. Он попал в Бутырскую тюрьму.

Из воспоминаний Раевского: «Тюремщик большим ключом открыл дверь, я просто остоленел и сделал движение назад. Но он дверью меня втолкнул обратно. Полумрак, справа и слева нары, между ними на полу деревянные щиты, смрад, накурено. Часть людей спит, некоторые сидят на нарах, поджав ноги. Слева крупный человек с бородой интеллигентного вида:

– Ну, идите, идите сюда, чего вы боитесь? Чему удивляетесь? Идите!».

Так началась жизнь Раевского в тюрьме. Через месяц первый допрос. Обвинение было предъявлено по статье 58 п.п. 8–11 – «террористическая организация». На следующем, последнем, допросе Раевский подписал обвинительный протокол. Очнулся в тюремной больнице. Там, в палате, он увидел своего тестя, Ю.Д. Урусова, которому было предъявлено такое же обвинение.

Через несколько месяцев приговор был объявлен по другой статье – за контрреволюционную деятельность (неизвестно – какую) – пять лет концлагеря в Ухте.

Перед этапом дали свидание с родными: «В небольшой комнатке, куда меня привел корпусной, стояли деревянная скамья со спинкой и напротив нее венский стул, на который он указал мне сесть. Вошли моя мать и брат Михаил. Корпусной предупредил, чтобы они не подходили ко мне, а сели на скамью. Моя мать – добрая, ласковая – держала себя так, как будто мы только вчера расстались. Со своей милой, очаровывающей улыбкой (которую так ценили и через много лет вспоминали многие из нашей бывшей прислуги) она сказала, глядя на меня:

– Ну вот, у нас все хорошо. Сын здоров, он деятельно участвовал в упаковке рюкзака, который ты получишь. Мы положили туда, как ты просил, папиросы, махорку и еще две пачки легкого табаку.

Брат мне потом рассказывал, что он был удручен моим видом и боялся за мать, что она не выдержит положенных двадцати минут свидания. Когда меня увели, он едва удержал ее: она инстинктивно хотела кинуться за мной. На улице она молча плакала, сдерживая рыдания. Потом взяла себя в руки, сказал:

– Поедем скорее домой. Моя малютка ждет меня.

Бедная моя мама, ведь она должна вернуться домой веселой и радостно сказать внуку, что провожала папу, что он скоро вернется. Что мог думать и чувствовать тогда мой трехлетний сын, так внезапно оставшийся круглым сиротой?».

Вот и этап. Ярославский вокзал. Спецконвой, положенный для особо опасных преступников. В купе шесть человек – люди самые разные: старик-рабочий – пильщик досок с искалеченной рукой; известный скульптор; студент Рыбного института; выдающийся инженер-строитель; кладовщик. Что объединило этих людей? У одного сестра работала в Кремле. У другого там работала уборщицей племянница, у третьего – какая-то родственница или сватья была в Кремле гардеробщицей и т.п. Жена самого Раевского работала в библиотеке Кремля. Увидел Раевский и тестя в соседнем купе. Всех этих женщин, работавших в Кремле, арестовали, а потом арестовали и их родственников. Весь вагон был заполнен людьми по одному «Кремлевскому делу».

Один из заключенных услышал слова начальника конвоя: «Эта шайка, что я на Воркуту везу, Кремль хотела взорвать!».

Из вагона перегнали на баржу, поплыли дальше на север. На ночь приставали к берегу, где всегда находилась какая-нибудь лагерная зона. Там ночевали в бараках.

Конечным пунктом оказалась станция Воркута-Рудник.

Раевский писал: «Картина довольно мрачная. Пологий склон правого берега реки Воркуты. Вдоль берега простираются землянки. У подножия склона высятся горы вскрытой породы и рядом – отвалы угля. По склону вверх, примерно триста–четырееста метров проходит как бы улица, с каждой стороны которой – бараки с дымящими трубами. Кругом всего поселка тянется ограждение из колючей проволоки и вдоль него вышки, вышки, вышки с вооруженными охранниками».

Так выглядел в 1935 году Воркутинский участок Ухто-Печерских лагерей, в котором находилось тогда около десяти тысяч заключенных.

Лагерная жизнь Раевского началась с того, что ему вручили желонку (подобие кирки) и отправили на шахту добывать уголь. Потом – на рытье котлована под здание новой электростанции. После окончания земляных и бетонных работ Раевский попал в группу электромонтажников. Как-то он спросил у инженера-электрика, одного из руководителей стройки, тоже заключенного, про качество трансформаторного масла. Тот удивился вопросу. Выяснил, что Раевский испытывал трансформаторные масла в лаборатории материаловедения у П.А. Флоренского, и прикрепил Сергея Петровича к такой же работе в лагере.

А вскоре произошел очередной перелом в судьбе Раевского. Его перевели в подразделение буровиков и дали пропуск для выхода из зоны. Он вспоминал: «Мне было непривычно оказаться как бы на свободе и шагать беспрепятственно по тундре, снежной необъятной пустыне. Дорога от рудника до буровой предварительно протапывалась буровиками, идущими впереди лошади, запряженной в порожние сани. Вдоль протоптанной дороги втыкались вешки из карликовой березы. После каждой пурги дорогу необходимо было восстанавливать. Лыжи могли иметь немногие, при наличии особых пропусков».

Началась трехсменная работа на буровой, без выходных дней. Раевский выполнял обязанность коллектора – делал описание керна, извлекаемого из скважины.

В 1936 году на Воркуте была организована Мерзлотная станция, для чего были командированы ученые из Академии наук СССР. Мерзлотоведы вели наблюдения за правилами производства строительных работ в условиях вечной мерзлоты. Их изыскания были нужны для постройки новой ширококолейной железной дороги. В распоряжение станции были переданы геологи и группа буровиков, в числе которых оказался и Раевский. Через некоторое время ему поручили делать геологическое описание пород и наблюдения за температурой в опытных скважинах, расположенных в тундре. Он получил право пользоваться лыжами. Порой при служебных выходах на лыжах ему удавалось ловить силками полярных куропаток. Они дополняли лагерный рацион.

Тем временем репрессии усиливались. В лагере начались массовые аресты. Заключенных отправляли в штрафной лагерь особого режима, организованный на бывшем кирпичном заводе. Из воспоминаний Раевского: «Что там конкретно происходило, я не знаю, так как уцелевшие и вышедшие оттуда живыми ни с кем ничем

не делились. Кирпичный завод постепенно разгружали. В одну из мартовских ночей 1938 года было расстреляно свыше трехсот человек. Всего же в первое полугодие 1938 на Воркуте расстреляли около 800 заключенных.

Как-то я проходил мимо электростанции. Меня увидел машинист, с которым я сидел в одной камере в Бутырках.

– Эй, Раевский, зайди-ка! Расскажи, что тебе из дома пишут.

– Да вот из последнего письма узнал, что мать с сестрой и сыном высланы в Сибирь.

– Что ты говоришь?! А сколько же твоему сыну лет?

– Пять.

– Ну тогда понятно, преступник опасный! ...твою мать, когда же этому конец?».

Для Раевского конец лагерной жизни наступил в 1939 году. Освободили его досрочно, по зачетам. «Вспоминая Воркуту и все, что пришлось там пережить,– писал он, – я должен преклониться перед теми людьми, которые как добрые волшебники всюду сеяли добро. Не будь этих людей – неизвестно, жил ли бы я до сих пор на свете. Мне до сих пор непонятно, как не боялись такие люди как Яновский, Братцев, Фивейский, Жуков и другие из Академии Наук делать все, что от них зависело, для облегчения нашей участи. Мне как-то сказали, что благополучный для меня конец заключения в Воркуте – результат теплых, длительных молитв моей матери. И я верю этому».

На свободе возникли новые трудности – не брали на работу. В конце концов, удалось устроиться техником-геологом в одну из изыскательских партий Гидроэнергопроекта. И с тех пор Сергей Петрович 40 лет вел кочевую жизнь геолога. Работал на Южном Урале, на Волге, в Сибири и других местах. На фронт его не брали из-за судимости по ст. 58.

А семье его горя досталось сторицей. До Раевского доходили слухи, что жена его находилась в Уральском политизоляторе. Когда он освободился и пытался узнать о ее судьбе, ему ответили, что осуждена вторично, приговор: «Десять лет без права переписки».

В 2000 году мне пришло в голову спросить на всякий случай о Е.Ю. Раевской в музее и общественном центре им. Андрея Сахарова. Сведения о расстрелянных в Москве хранятся там в компьютере. К моему удивлению, оказалось, что сведения о ней есть. Мне выдали листок, где было написано, что Раевская Елена Юрьевна, без определенного места проживания, отбывала наказание в Ярославской тюрьме особого назначения, арестована 2 июля 1937 года, осуждена Военной Коллегией Верховного суда СССР по обвинению в участии в антисоветской террористической организации, приговорена к расстрелу 13 июля 1937 года, приговор приведен в исполнение 13 июля 1937 года, место захоронения – Донское кладбище, могила №1. На листке, в том месте, где должна быть фотография, пустой прямоугольник. Я дала в музей фотографию Е.Ю. Раевской – полудетское лицо, гладкие волосы, расчесанные на прямой пробор. Фотографию ввели в компьютер.

Я передала этот листок Сергею Петровичу...

У Ольги Ивановны Раевской в ссылке произошел инсульт, она была парализована, практически неподвижна. Фактически инвалидом стала и высланная вместе с матерью в

Сибирь Елена Петровна Раевская. Через некоторое время их удалось вернуть в Москву. Хлопотал и ездил за ними Михаил. Петрович Раевский. Мать и сестра прожили после этого недолго.

А вскоре арестовали и Михаила, перед самой защитой диссертации. Он был талантливым математиком. Кто-то позавидовал ему и подложил на работе какую-то запрещенную книгу. М.П. Раевский скончался в лагере в 1944 году.

В лагерях и тюрьмах оказались и многие другие родственники и близкие Раевских.

Сын Сергея Петровича Кирилл кочевал вместе с отцом по стране, учился в девяти школах. «Несмотря на все тяготы, которые нам пришлось перенести, – писал С.П. Раевский, – остался верным традициям своей семьи, а для меня всегда был утешением от горьких переживаний... Сиротское детство Кирилла проходило без необходимых для ребенка радостей и материнской ласки. Но его светлый ум, стойкость и душевная теплота, унаследованная от матери, позволили ему найти прямую дорогу. Сейчас он профессор, член-корреспондент Академии медицинских наук. За все перенесенные страдания Господь вознаградил нашу семью, состоящую на сегодняшний день из четырех поколений Раевских по мужской линии».

С.П. Раевский сохранил в 90 с лишним лет ясный ум и память. Написал воспоминания о своем роде. Пока были силы, неоднократно приезжал в Сергиев Посад, в Лавру.

Князь В.М. Голицын и его родные

Умение щадить живых тварей – черта истинно христианская, то же, что и человеколюбие, а потому я не понимаю ни охоты, ни ловли, как не понимаю войны.

В.М. Голицын

– Выметайтесь, куда хотите!

Так заявили власти весной 1929 года Голицыным, жившим в Москве, в Еропкинском переулке.

«За три дня до нашего отъезда, – вспоминал Сергей Михайлович Голицын, – явились двое в сопровождении управдома... Увидев, что вся мебель стоит на своих местах, они начали кричать и грозить, что будут вещи выкидывать на улицу, что сейчас по всей Москве выселяют лишенцев.

Восьмидесятидвухлетний дедушка, в былые годы как городской голова много добра и пользы принесший Москве, наше изгнание переносил тяжелее всех. В час прихода этих людей он сидел за столом и мирно раскладывал пасьянс. А тут закричал:

– Нет, нет, не могу, не могу! – и начал валиться набок.

Управдом и я подхватили его, я дал ему воды. А те двое стояли и посмеивались».

В 1929 году Голицыных лишили избирательных прав. Тогда, в марте на стене дома, где они жили, появился список так называемых лишенцев. Первым в нем стояло имя старейшего члена семьи: «Голицын Владимир Михайлович (старший) (1847–1932), бывший князь, бывший губернатор, бывший московский городской голова, бывший помещик, бывший домовладелец». Далее шли имена еще шести совершеннолетних членов семьи (двое были несовершеннолетними).

В то время вышел указ Моссовета о выселении из Москвы всех лиц, лишенных избирательных прав и нигде не работающих. Голицыным пришла повестка в суд по делу о выселении. Как пояснил адвокат, если бы Голицыны жили не в просторной квартире с высокими потолками, а в подвале, никто бы их не тронул. Суд постановил бывших князей Голицыных выселить из Москвы.

С переездом медлили, на что-то надеясь. Внук Владимира Михайловича Сергей Голицын вспоминал: «В первые годы революции, когда нас выселяли, всегда предоставляли хоть и плохое, но все же под крышей жилье»..

После этого семья сняла пустую зимнюю дачу в Хлебникове по Савеловской железной дороге, позже переехала в город Дмитров, а Владимир Михайлович поселился в Сергиевом Посаде – там жила семья его дочери Елизаветы Владимировны Трубецкой. В.М. Голицын и раньше приезжал в Посад летом, снимал жилье с женой на Огородной улице, через дом от Трубецких, а его сын Михаил с семьей снимал в 1924–1929 годах снимал на летний период дачу в селе Глинкове под Сергиевым Посадам. В 1925 году жена Владимира Михайловича – Софья Николаевна – скончалась, и он стал жить у Трубецких, в отдельной комнате.

Его внук, А.В. Трубецкой вспоминал: «Летом мы обедали на террасе, примыкавшей к дому (теперь ее нет), и дедушка занимал за столом главное место. Он был во всем педант, и, наверное, по его желанию массивная граненая солонка старого стекла никогда не убиралась со стола... Пунктуальность дедушки проявлялась и в том, как он каждый день проверял по радио свои часы. У нас был самодельный детекторный радиоприемник – творение брата Гриши. Как сейчас, вижу дедушку, сидящим против двери в нашей средней комнате и вперившего глаза в луковицу карманных часов, зажатых в кулаке на коленях. Другой рукой он постукивает ногтем по циферблату, а нас, детей, выгоняют из комнаты, чтобы не мешали слушать сигналы точного времени.

Делал он замечания сестрам об их прическах, говоря, что человека отличает от зверя то, что лоб его без волос. Вижу его сидящим с большой развернутой газетой, а на ней крупные буквы “Times”. Эту английскую газету дедушка получал от Уинтера, мужа моей двоюродной сестры Сони...

И дедушка, и бабушка очень любили полевые цветы, особенно дедушка. Он всегда нас ругал, когда мы приносили большие букеты».

Владимир Михайлович жалел собаку хозяина дома и не раз говорил, что собаку «надо кормить в первую голову». Хозяйский сын так и стал обращаться к собаке: «Эй, ты, первая голова!»

В.М. Голицын окончил в 1869 году естественный факультет Московского университета, занимался изучением растений. И хотя посвятил себя главным образом общественной и административной деятельности, любовь к природе он пронес через всю свою жизнь. Так, когда к нему, московскому губернатору, обратился председатель Российского общества покровительства животным с просьбой принять меры в защиту птиц (в то время в России была очень популярна ловля птиц), им был немедленно издан циркуляр о запрещении охоты на птиц и их ловли с 1 марта по 29 июня. «Умение щадить живых тварей – черта истинно христианская, то же, что и человеколюбие, а потому я не понимаю ни охоты, ни ловли, как не понимаю войны», – записал он в своем дневнике.

Окончив в 1869 году университет и получив степень кандидата, он поступил чиновником 10-го класса в канцелярию Московской городской распорядительной думы. После упразднения думы служил в Московской дворцовой конторе, состоял почетным членом попечителей Московской градской больницы и попечителем Лефортовского госпиталя для больных и раненых воинов. В 1883 году был назначен исполняющим должность московского вице-губернатора, а в 1887 году – исполняющим должность московского губернатора.

Он стал пожизненным почетным попечителем Сергиево-Елизаветинского приюта для добровольно следующих в Сибирь семейств ссыльных, почетным мировым судьей, товарищем почетного председателя Комитета по устройству музея прикладных знаний. Но после назначения генерал-губернатором Москвы великого князя Сергея Александровича Голицын был уволен – отношения с великим князем у него не сложились.

А в 1897 году состоялись выборы на пост городского головы Москвы, и Голицын был выбран закрытым тайным голосованием (против было только четыре голоса). В этой должности он сделал много полезного. По его предложению было построено мужское и

женское начальное училище на 600 человек, сооружен храм при Убежище для неимущих. При нем была открыта глазная больница, Убежище для неизлечимо больных, сооружена новая городская детская больница. При Голицыне город выкупил железно-конные дороги, находившиеся в частном владении, и перевел их на электрическую тягу, началось строительство трамвайных линий, была построена первая очередь Москворецкого водопровода и сделано многое другое.

Его избирали городским головой трижды. Но в разгар событий 1905 года он добровольно ушел с этого поста. Вскоре ему по предложению гласных городской думы было присвоено звание почетного гражданина города Москвы (всего почетных граждан в Москве было 12). Несмотря на то, что власти недолго любили князя за его либеральные взгляды, московский градоначальник счел необходимым поддержать предложение городской думы, так как отказ, как он писал, произвел бы неблагоприятное впечатление, к тому же в начале своей службы по городскому ведомству князь Голицын в значительной степени содействовал развитию благотворительной деятельности в столице.

Портрет В.М. Голицына кисти В Серова был помещен в большом зале думы (сейчас он в Государственном историческом музее).

После ухода с поста городского головы Голицын продолжил благотворительную деятельность. Он основал фонд помощи увечным воинам, пострадавшим в войне с Японией, и передал крупную сумму на строительство приюта для беспризорных детей. Эта сумма образовалась из средств, которые полагались князю как городскому голове, но он их не брал. Приют был построен, несмотря на трудности военного времени, и открыт в 1916 году.

Князь вел и общественную деятельность. Он был председателем совета народного университета им. А.Л. Шанявского, председательствующим в комитете по управлению Политехническим музеем, после смерти П.М. Третьякова стал попечителем Третьяковской галереи.

Он имел все русские ордена до Станислава включительно, был награжден многими иностранными орденами – «Командорским крестом почетного легиона» Франции, «Желтой короны Австрии, «Маврикия и Лазаря» Италии, «Льва и Солнца» (1-й и 2-й степени) Персии и другими.

В июле 1931 года Владимиру Михайловичу пришлось уехать: дом на Огородной у хозяина отобрали. Трубецкие были вынуждены перебраться в другой дом – на Нижней улице, где все девять человек поселились в одной комнате. Владимир Михайлович переехал в Дмитров, где жила семья его сына Михаила. Его внук Сергей Голицын писал: «Переехав в Дмитров, мои родители и брат Владимир позвали деда к нам. И он, 84-летний, относительно бодрый старец, сразу занял в семье первенствующее положение. Мы почитали его, главным образом, и по прежним заслугам, и благодаря его врожденному аристократизму. Как он держал за обедом ложку, как тасовал и раскладывал карты для пасьянса! Его тонкие, унаследованные от предков, никогда не знавшие физического труда пальцы двигались медленно. Все в семье перед ним преклонялись, никто не осмеливался с ним спорить. Небольшого роста, с белыми усами на тонком сморщенном лице, в неизменной лиловой бархатной ермолке на лысой голове, он на фоне портретов предков производил на гостей большое впечатление.

Скудны были наши обеды, а ему неизменно подавались лучшие куски. На одиннадцать человек выдавались, как и раньше, пять хлебных карточек (карточки в семьях лишенцев давали только детям. – Т.С.), но кто осмелился бы остановить деда, если он брал второй кусок хлеба.

Сын Александр Владимирович продолжал ему ежемесячно переводить из США по десять долларов (наверно, мог бы и больше). Эти доллары менялись на торгсиновские боны, на которые покупали постное масло и крупы, а также специально для деда печенье или конфеты. Каждый вечер он съедал по одной конфетке, с малыми правнуками не делился. И это принималось, как должное.

Память у деда была исключительная. По вечерам, раскладывая с моим братом Владимиром пасьянсы, он неизменно рассказывал различные случаи из своей богатой событиями жизни, говорил медленно, размеренным голосом, никогда не смеялся. По утрам писал дневники, как писал всю жизнь, предварительно составляя заготовки на узких бумажных ленточках.

Незадолго до моего приезда в Дмитров он получил солидный гонорар, и вот при каких обстоятельствах: директор Литературного музея, известный революционер, сподвижник Ленина Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич приобрел у кого-то из бывших людей толстый альбом с фотографиями шестидесятых годов. А кто такие были расположенные по страницам господина и дамы – оставалось неизвестным.

Альбом в темно-синей бархатной корке был доставлен в Дмитров, и дед с увлечением принялся за работу. Он не только называл каждого и каждую по имени, отчеству и фамилии, но и рассказывал о них различные, иногда очень длинные, иногда со скабрёзными подробностями истории. Только о троих он вынужден был признаться, что их не знает. Он объяснил, что они были иностранцами.

Сейчас в книгах, посвященных Пушкину, постоянно приводится фотография его жены Наталии Николаевны в старости. Сидит почтенная дама в кресле. Фотография эта была из того альбома, и разгадал ее мой дед; позднее одна старушка подтвердила его опознание».

Владимир Михайлович Голицын скончался от воспаления легких 29 февраля 1932 года. Могила его не сохранилась.

Рассказ о В.М. Голицыне хочется закончить выдержками из его дневников. С двадцатилетнего возраста он делал записи каждый день. Тридцать три толстых тома хранятся в отделе рукописей Российской государственной библиотеки, один том сгорел и еще один сохранился в семье Голицыных. Тут и записи о погоде, о событиях семейной жизни, и размышления о политике. Последние особенно интересны.

«Только теперь прозрели мы насчет того, насколько русский народ – варвар, дик, насколько отстал от времени, не говоря уже о других просвещенных народах, и отстал во всех решительно областях жизни, начиная со своего быта, домашнего, семейного, личного. Но сознаем ли мы, что в этом виноват не народ, а мы, якобы культурные люди, вовсе не заботившиеся о просвещении его и державшие его, умышленно ли или случайно в полной тьме...». (Запись 29 августа 1919 года).

«Размышляя о положении, о всем пережитом и о виденном кругом нас, весьма натурально, что мы мысленно сопоставляем оба режима – царский и советский. И трудно сказать, который из двух представляется нам не выдерживающим критики, нелепым, преступным даже! Но в том и другом поразительна наша несостоятельность, индивидуальное, партийное и коллективное безразличие. О несостоятельности прежних чиновников, военных, вельмож говорить нечего. Но и теперь не выдвинулось ни одного имени, и для реальной работы советские органы вынуждены обращаться к тем же, против кого они ведут борьбу, то есть к нам. Есть ли это свойство славянской природы или это естественные плоды царского режима, делавшей из нас рабов?» (16 апреля 1920 года).

«Какой печальный жребий России: иметь правительство либо всему противодействующее, как царское, либо все разрушающее, как советское, и не иметь правительства реального, творческого». (31 августа 1920 года).

В 1922 году он написал нечто вроде исповеди: «Если под патриотизмом должно понимать преданность царскому роду, то этим я никогда не отличался, никогда не смешивал любовь к Отечеству с верноподданством. Я люблю Россию как свою отчизну, как национальный организм, в состав коего я входил по рождению, по роду жизни и труда, по связи и с природой, и с ее людьми. Но никогда не питал особого уважения к ее монархии, к ее самодержавному строю и не понимал, чтобы судьбы многомиллионного народа были вверены якобы Божьим Промыслом одному человеку. Я был свидетелем трех царствований... Что касается окружающей их атмосферы семейной, придворной, чиновной и пр., то она всегда возбуждала во мне чувство глубокого презрения и даже негодования. Мысленно подводя итоги этих трех царствований, я пришел... к убеждению, что наша революция, самая ее форма и ее безобразные и преступные явления не что иное, как логическое последствие этих царствований, яблоко, упавшее к подножию родной яблони.

Всегда мне был чужд национальный шовинизм, и я не считал русский народ особо любимым Богом, Им избранным для какой-то высшей мировой миссии, а рядом с этим я никогда не впадал в патриотическое самообольщение при суждении о его исторических деяниях как на мирном поприще, так и на "полях брани". Так, я считал, что так называемое обрусение хищнически захваченных нами народностей, имевших так же, как и мы, право на самостоятельное бытие (Польша, Литва, Финляндия, Крым, Кавказ), было ничем иным, как насаждением дикости, варварства, насилия и тому подобных продуктов русского духа.

Какова была моя религия? Вопрос этот я часто себе ставил и на него ответ я мало-помалу выработал себе путем чистой и внимательной самоисповеди. Да, я верующий, но эта вера не была дана мне извне, менее всего уроками так называемого закона Божьего и наставлениями.., а она есть продукт собственного мышления, постоянно им создававшийся и созревший лишь в преклонных годах моих. Я веровал в Божественность христианского учения, в основные его догматы, я сознавал себя входившим в состав христианской Церкви...

Каково же было мое кредо вообще? На первом месте стояло мое поклонение природе в самом широком, всеобъемлющем даже смысле, и в этом отношении я смело могу назвать себя последователем пантеизма в духе Спинозы и боготворимого мною

Гете... Человек входит в состав природы, но отнюдь не является ее царем, не монополизирует в себе духовные силы – разум, сознание, осмысленность, присущие всем тварям.

Другим моим догматом была вера в прогресс. Подобно тому, как человек растет и развивается, другими словами, старается усовершенствовать себя в течение всей жизни, так и человечество во всей своей совокупности растет и развивается, т.е. прогрессирует... Мне всегда казались нелепыми и комичными часто высказывавшиеся людьми пожилыми сожаления о "добром старом времени".

Я почитал настоящим культурным человеком того, кто отвращался от грубости в обыденном своем поведении, от житейской грязи, от нелогичности обычаев и нравов. Вот почему я не понимал тех аристократов по названию, но пролетариев самого низшего сорта в душе, особенно изобиловавших в свое время в Петрограде, которые находили удовольствие в пьяной грязи, в грубых удовольствиях, в пошлости всякого рода...

Что касается моих политических убеждений, то может казаться, что я изменил себе. Однажды один петроградский сановник спросил меня: как могло случиться, что прослужив 8 лет во главе губернской администрации, я стал либералом, поборником идей конституционных, и дал мне понять, что в этом он подозревает обманутое честолюбие, следствие разрушенной карьеры и пр. Я ему ответил, что именно эта административная служба и раскрыла мне глаза на всю мерзость нашего государственного строя, самодержавие, на царя, а гораздо более чиновников, и вкоренила во мне убеждение, что истинные патриоты должны всеми силами стремиться к выдвиганию у нас правого строя...».

«Не раз я говорил, что для меня существует идеал аристократии, аристократии культурности, природного ума, возвышенной души, чуткого сердца».

Размышления старого князя перемежаются записями об арестах сына и зятя, о болезнях близких, рождении внуков, праздновании золотой свадьбы и о получении субсидии в виде пшена... Порой встречаются пронзительно горькие строки: «Обедать мы ходили к Трубецким, у которых будем и впредь столоваться. Хотя и близко мы живем, но возвращаться домой по грязи, в темноте было очень трудно. Как тяжело жить!»

Или: «Мало ходил из-за болей во всем теле и из-за слабости. Сидел дома и грустил, душа так и рвется из этой ссылки».

«Удивляюсь, что в моих годах (ему было 83 года. – Т.С.) я не утратил жажды к знанию и не перестал стремиться к обобщению его».

«Падение советского режима воспоследует силою инерции, а не под ударами грозы или в порывах бури, но как-то само по себе, собственной тяжестью, из-за непримиримости к реальному, окружающему его миру, его атмосфере, его условиям. А что падение это рано или поздно совершится, в этом я ни минуты не сомневаюсь». (Запись января 1932 года).

«Должен признаться – я люблю свою семью, и в ее единении вижу Божье благословение нам».

Запись в дневнике, сделанная 23 июля 1931 года кончается словами: «...Как милы трое моих правнуков. Я очень устал».

Внук Голицына А.В. Трубецкой заметил: «...читая дневники деда, видишь его самые нежные чувства к нашей матери да и ко всем нам – детям и понимаешь его тоску расставания с нами».

О семье, о тех, с кем вместе жил Владимир Михайлович, необходимо сказать, хотя бы коротко.

Он был женат на Софье Николаевне Деляновой. Долгие годы она была душой московского дома Голицыных. Ее внук С.М. Голицын вспоминал: «... она с большим умением и тактом вела беседу с гостями. И наверняка тот, кто являлся к ней впервые, уходил очарованный ее обхождением, ее умом, ее приветливостью, ну а тот, кто приходил к ней постоянно, тот просто любил ее и восхищался ею».

Золотую свадьбу Голицыны отмечали в 1921 году в Богородицке Тульской губернии, в имении графини Веры Владимировны Бобринской, куда они в 1918 году, спасаясь от голода, уехали из Москвы. В.В. Бобринская, дочь Владимира Михайловича, жившая в то время уже не в бывшем дворце Бобринских, а во флигеле, пригласила жить у себя родителей, семью брата Михаила и семью сестры Елизаветы Трубецкой.

Вскоре В.М. Голицын и два его зятя – Владимир Сергеевич Трубецкой и Лев Алексеевич Бобринский были арестованы. В тюрьме их продержали недолго. «К своему необычному местопребыванию дедушка отнесся философски, – писал С.М. Голицын, – только сокрушался, что впервые в жизни не пишет дневник».

Следующий арест был более продолжительным. Арестованных перевезли в Москву, в Бутырскую тюрьму. Позже один из тогдашних вождей – председатель Моссовета Каменев – пригласил к себе В.М. Голицына, извинился за арест, сказал, что помнит, как хорошо тот относился к политическим заключенным, когда был городским головой и вручил ему "охранную грамоту"».

В 1922 году из Богородицка пришлось уехать. Сын Владимира Михайловича Михаил купил в Москве, в Еропкинской переулке, пятикомнатную квартиру, где и поселились Голицыны.

Софья Николаевна в сентябре 1925 года скончалась в Сергиевом Посаде от саркомы.

После ее смерти Владимир Михайлович помрачнел, ушел в себя, углубился в чтение книг на французском языке. Его внук, Владимир Михайлович (младший), старался всячески развлечь деда, помогал раскладывать пасьянс, слушал его рассказы о далеком прошлом, показывал свои иллюстрации к юмористическим рассказам, публиковавшимся в журналах.

Семья очень нуждалась в средствах. Как раз в это время одно издательство решило выпустить полное собрание сочинений Золя. Договор на переводы был заключен с Михаилом Владимировичем Голицыным, сыном старого князя. Они стали переводить вместе. Владимир Михайлович прекрасно знал французский (даже мог думать на этом языке), но его слог был старомоден, поэтому его переводы приходилось править чуть не всей семьей. Позже издание Золя было отменено, и издательство предложило перевести «Смехотворные рассказы» Бальзака, написанные в стиле XVI века. Тут слог Владимира Михайловича оказался очень подходящим.

После сворачивания НЭПа найти работу было очень трудно. Сын Михаила Владимировича Голицына, Сергей, писал: «Я не знал, да и теперь не знаю более деятельного и усердного работника, чем мой отец. А тут он постепенно сник, у него опустились руки. Он привык всю жизнь сидеть за столом на службе и дома по вечерам редко выходил к гостям: чем-то занимался. Теперь потерянный ходил по квартире, останавливался в раздумье, опять начинал ходить».

Руководители учреждений на первых порах встречали его радостно – это был человек с огромным опытом, работавший и до революции и успевший 11 лет проработать после нее, – знакомили с характером будущей работы, случалось, показывали стол, за которым ему предстояло сидеть. Он заполнял анкету– писал правду: "бывший князь". На этом все кончалось. Один из кадровиков прямо сказал: "Куда вы суетесь? Без вас построят социализм».

В начале 1929 года лишилась заработка и его дочь, Софья Михайловна, работавшая статистиком в санитарном учреждении: тратить средства на медицинскую статистику почему-то вдруг посчитали нецелесообразным.

Владимир Михайлович (младший) и его брат Сергей работали по договорам в различных издательствах. Сергей Михайлович одновременно учился на Литературных курсах, но во время «чистки» его, как сына бывшего князя, исключили. И все-таки Сергей Михайлович стал писателем. Всю войну он прослужил в строительных частях, дошел до Берлина, был награжден орденами и медалями. Потом работал инженером-геодезистом в проектно-институте. А потом стал писать книги для детей: «Полотняный городок», «Городок сорванцов», «Тайна старого Радуля»... Писал и о художниках – В.Д. Поленеве, В.А. Фаворском, писал об архитектуре Владимиро-Суздальской Руси... Но его главной книгой стали «Записки уцелевшего» (М., 1990). Над этим произведением он работал 10 лет, а вышла книга уже после его смерти. Не случайно такое название – вся первая половина жизни автора прошла под постоянной угрозой его свободе. В «Записках» не только ярко передана жизнь семьи Голицыных (1918–1941), но и жизнь страны в те годы.

Вот несколько фрагментов из его книги.

Год 1924: «...Впервые я увидел великолепный архитектурный ансамбль монастыря, основанного великим святым Древней Руси преподобным Сергием, благословившим князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Историк Ключевской писал: покуда неугасимая лампада будет гореть у реки Святого, будет и Русь жива.

В первые годы революции лампада погасла, монахов разогнали, монастырь был превращен в музей, и мощи святого Сергия, раскрытые, оскверненные, остались в запечатанном Троицком соборе начала XV века. Знаменитый иконостас, расписанный Даниилом Черным и Андреем Рублевым, был недоступен для народа.

С большим интересом я ходил по сводчатым палатам музея, смотрел старинные драгоценные предметы церковной утвари, усеянные жемчугами, изумрудами, сапфирами, бирюзой. Все драгоценные вклады, начиная со второй половины XVIII века, были изъяты якобы "для голодающих", а старина – церковные сосуды, шитые пелены, иконы, ризы – осталась...

Научный руководитель музея граф Юрий Александрович Олсуфьев – живой, невысокий человек с бородой, с живыми глазами – встретил нас, двух мальчиков, очень любезно. Сергей меня ему представил (Сергей Истомина. – Т.С.), он мне подал руку, будто взрослому, и повел показывать.

Не все монахи были изгнаны из Лавры. В каждый музейной палате сидело по иноку-сторожу, музейные работники вполне могли на них положиться. А палаты были нетопленые, там стоял мороз более лютый, чем на улице. Мы с Сергеем ходили без шапок до тех пор, пока один из монахов не сказал нам, что мы можем надеть шапки, иначе простудимся. Да, конечно, ведь святость из Лавры ушла...

А однажды ко всеобщей под старый Новый год мы пошли в Гефсиманский скит...

Гефсиманский скит был окружен лесом. За каменной оградой высился розовый с белым одноглавый храм XVIII века. Вечерело. Мы прошли сквозь тяжелые железные ворота внутрь скита, вошли в храм.

Молящихся было много. Женщины, молодые, а больше старые, в тот год впервые получили разрешение войти в скит; они теснились толпой. Длинноволосые монахи стояли отдельно, иные совсем древние, седобородые, иные молодые, с черными и русыми бородами, такие, как на этюдах Корина. Два хора монахов пели молитвы на правом и на левом клиросах. Сотни свечей, разноцветные лампы освещали молящихся. Сергей показал мне схимника, стоявшего отдельно, его лицо было укрыто клобуком, виднелась только седая взлохмаченная борода, на его черной рясе, как на одежде схимниц с этюдов Корина, были вышиты крупными серебряными буквами череп с костями и слова молитвы – "Святой Боже, Святой крепкий, Святой бессмертный, помилуй нас!.."

Служба тянулась долго и утомительно, от множества свечей, лампад, от дыхания богомольцев было душно, но я терпеливо стоял, слушал протяжное пение монахов.

Все случайное, наносное ушло из монастырских стен, а остались те иноки, которые ради прославления имени Христова готовы были идти на любые страдания. Они стояли и низко кланялись, шепотом повторяли молитвы.

Служил сам наместник отец Израиль – в черной, с золотом ризе, почтенный, полный, еще бодрый старец с пышной бородой. Он служил вдохновенно, слова молитвы произносил четко. Великая ответственность лежала на его плечах: суметь продержаться в скиту возможно дольше, уберечь доверившихся ему иноков от земных соблазнов, разговаривать с властями с достоинством, высоко держать знамя православия и знать, что рано или поздно отца неминуемо ждут тягчайшие муки...».

Шесть лет подряд Голицыны снимали дачу в Глинкове. «И мне, и моим младшим сестрам те месяцы каникул, – писал С.М. Голицын, – с точки зрения воспитательной, становления характера, выработки убеждений, дали очень много. Сама окружающая природа с необозримыми лесами, с колокольнями по многим селам, с малой, петляющей в кустах речкой Торгошей, – природа поэтичная, благостная, которую запечатлели на своих полотнах Васнецов, Нестеров и те художники, кто любил старую Русь, покорила и меня, и моих младших сестер. Я бродил по лесам зачастую один; настроение у меня было приподнятое, я мыслил поэтическими образами. И то, что я стал писателем, что мое творчество связано с Древней Русью, с ее красотой природы, с ее славной историей, я во многом обязан Глинкову.

Батюшка отец Алексей (Загорский. – Т.С.) был простой сельский священник, много лет исправно крестивший, венчавший и хоронивший крестьян села Глинкова и двух ближайших деревень. С виду очень похожий на писателя Аксакова в старости, он по воскресеньям служил обедню, по субботам всенощную, служил по престольным праздникам и в дни особо чтимых святых. Белая с колокольнями церковь в стиле доморощенного Empire во имя Корсунской Божией Матери запечатлена на рисунке Владимира (брат автора, художник. – Т.С.) в книге, посвященной ему. А сейчас в той церкви мерзость запустения (1970-е годы. – Т.С.).

В свободные часы батюшка надевал старую рясу. Сам на своей лошади пахал, косил сено, матушка доила корову и провожала ее в стадо. Три дочери, все три – сельские учительницы и старые девы, приезжали к родителям из не очень дальних школ на летние каникулы и усердно работали на участке, издревле принадлежавшему церковному притчу.

Второй просторный батюшкин дом мы сняли под дачу...

В первое глинковское лето на дальние прогулки мы не ходили. Разыскали в километре от села, вверх по речке Торгоше, вытекающий из обрывистого берега ключ в кустах ольховника, рядом на дереве была прибита иконка. Тогда ключ назывался Гремучим. Позднее его переименовали в Святой, к нему стали ходить богомольцы с бидонами, забирали из него якобы святую воду.

Побывали мы и в Вифании, бывшем монастыре, верстах в двух от села на берегу обширного озера. Там еще жило пять или шесть монахов, и церковь последний год была открыта. Монастырь был основан в конце XVIII века митрополитом Московским Платоном, который любил там отдыхать. При нас монашеские корпуса занимало педагогическое училище, а резиденция самого митрополита, оставшаяся нетронутой со дня его кончины, была превращена в небольшой, бережно содержащийся музей, просуществовавший до тридцатых годов (до 1929 года. – Т.С.).

И еще мы собирали белые грибы, которых в ближайших глинковских окрестностях была тьма-тьмушная».

В 1925 году у глинковского священника второй дом отобрали под клуб. Голицыны сняли переднюю половину другой избы.

«На престольный праздник – Двенадцать Апостолов – с утра церковь заполнялась нарядными, в блестящих сапогах, мужиками с расчесанными бородами, бабами в белых платочках. А после обедни и молебна батюшка отец Алексей, торжественный, благостный, выходил на амвон в золотой ризе, сперва проникновенным басом говорил проповедь, потом давал целовать крест теснившимся возле него прихожанам».

В последующие годы С.М. Голицын с сестрами и друзьями часто совершал дальние походы по окрестностям Сергиева Посада, «шли полями, лесами, любовались лесными далями, в какой-то деревеньке пили молоко с чудесным заварным ржаным хлебом. А тогда везде крестьянки сами пекли в русских печках на капустных или кленовых листьях круглые караваи с верхней румяной корочкой; они были куда вкуснее нынешних буханок».

Вдвоем с товарищем Сергей Голицын побывал в Параклите: «Мы зашагали вдвоем в дальний, за восемь верст, скит Параклит. Наша дорога начиналась от Черниговского скита, была прямой, мощеной, теперь заросшей травой, по ее сторонам рос сплошной лес.

Скит Гефсиманский жил под дамокловым мечом выселения, землю у монахов отобрали, и поля зарастали сорняками. А над Параклитом еще не нависла угроза, и когда мы подходили к его красной кирпичной ограде, то увидели вдали нескольких монахов, которые жали серпами рожь.

Скит жил по строжайшему уставу, женщины туда не допускались, служба в небольшой кирпичной церкви длилась долго, богомольцы сюда приходили редко. Монах-привратник нас пропустил за ограду, объяснил, где находится трапезная, и сказал, что нас непременно накормят. Так оно и случилось. Молодой, улыбающийся монах подал нам по глиняной миске заправленных постным маслом и луком горячих кислых щей, отрезал от большого каравая по огромному куску хлеба, поставил перед нами на стол глиняный кувшин с ледяным квасом. Мы поели с аппетитом и признались друг другу, что никогда в жизни не пробовали таких щей, такого хлеба, такого квасу...

В двух километрах от села находится Вифанский монастырь, или просто Вифания, когда-то летняя резиденция жившего в конце XVIII - начале XIX века известного провидца митрополита Московского Платона. По его повелению речка в нескольких местах была запружена, и образовались обширные живописные пруды; на их берегу встал белый храм с большим, синим, осыпанным звездами куполом и одноэтажный изящный особнячок для самого митрополита. После его кончины в Вифании устроили монастырь, для монашеских келий возвели длинный двухэтажный корпус разные хозяйственные постройки.

В первые годы революции монастырь был закрыт. В особнячке обстановка оставалась неприкосновенной, как при жизни митрополита, там образовали музей... А в жилом корпусе и в хозяйственных постройках разместилось педагогическое училище. Но где-то на задворках в малом чуланчике ютился и принимал богомольцев весьма почитаемый старец – отец Валериан. Мои сестры к нему ходили.

...пробил час – и на глинковский храм, и на его священнослужителя нагрянула беда.

У отца Алексея было три дочери, все три незамужние и уже в годах, все три учительницы в разных школах района. Однажды их вызвало сергиевское начальство и предъявило им подлинный ультиматум примерно в таких выражениях:

– Немедленно отправляйтесь к своему отцу и предложите ему снять сан. Жители села добровольно организовали коммуну, а он воду мутит. Если же согласия не даст, еще неизвестно, как с ним вынуждены будут поступить. А вам придется со своими должностями распрощаться. Поповским дочкам нельзя доверять воспитание советских детей в коммунистическом духе...

Что им оставалось делать? Столько лет учили они уму-разуму сельских ребят и наверняка были у начальства на самом хорошем счету, а тут тень двоюродного братца не помогла (С.М. Голицын ошибочно считал их родственницами В.М. Загорского (Лубоцкого), именем которого в 1930 году был назван Сергиев Посад. – Т.С.). Поплакали они в кабинете начальства и поплелись в Глинково уговаривать отца на недобрый шаг.

Был он благочинным, то есть старшим над двенадцатью приходами, все почитали его. А тут... Когда перед Рождеством пришли богомольцы ко всеобщей, церковь оказалась запертой. И с тех пор никогда ее для службы не открывали.

Сколько-то лет спустя власти выломали замок, крючьями содрали тончайшей резьбы иконостас, иконы сожгли. Сейчас бывший храм, выстроенный в сороковых годах прошлого столетия, выглядит обглоданным остовом.

А каким он был раньше, как красиво стоял на высоком берегу речки Торгоши, можно увидеть в книге "Владимир Голицын – страницы жизни художника, изобретателя, моряка". Там на странице 74-й помещен тонкий и тщательно отделанный карандашный рисунок глинковской церкви, исполненный моим братом в 1927 году.

Историю глинковского батюшки я знаю по рассказу дяди Владимира Трубецкого. Той зимой шел он как-то по улице Сергиева Посада, и встретился ему старик, в коротком кафтане, в подшитых латаных валенках, небритый, с космами седых волос, нависавших на лоб из-под лохматой шапки.

– Владимир Сергеевич, вы меня не узнаете? – окликнул старик дядю.

– Отец Алексей, вы ли это?! – воскликнул пораженный дядя.

Тот опустил глаза и с грустью проговорил:

– Преобразился еси. – И стал рассказывать ту историю, которую я сейчас привел.

Закончил он, как его с матушкой выселили из Глинкова; все имущество и всю скотину у них отобрали; живут они у младшей дочери, а две старшие принять их побоялись. Ну, да Бог их простит...».

О внуке В.М. Голицына (старшего) – Владимире Михайловиче (младшем), который жил с семьей в 20-х годах в Глинкове, написано немало воспоминаний. Он был моряком, художником, изобретателем детских игр. Уже в 19 лет он стал сотрудником плавучего морского института в городе Полярном, в 20 лет участвовал в экспедиции на Новую Землю на ледоколе «Малыгин», а на следующий год – в строительстве научно-исследовательского судна «Персей». Долгие годы ходил этот первенец нашего океанографического флота в далекие плавания под флагом, придуманном Голицыным – синим флагом с семью главными звездами созвездия Персей.

И большинство книжек, иллюстрированных художником, про море. И самые интересные изобретенные им игры – морские: «Пираты», «Колумбы», «Флотская игра», «Юнга», «Подводная лодка»... И многие из расписных деревянных шкатулок, за которые Голицын получил на Парижской выставке 1925 года золотую медаль, на морскую тему: вот идет загрузка корабля – тащат на него какие-то ящики, мешки, громадную рыбу, лазают по мачтам матросы, а вот попало судно в бурю, а там строят новый корабль, а тут – белье полощут... Веселые, яркие картинки, напоминающие русский лубок. Позже он создал целую серию замечательно смешных рисунков к охотничьим рассказам В.С. Трубецкого, печатавшегося под псевдонимом В.Ветов. Еще он рисовал плакаты, картинки для спичечных коробков, делал модели игрушек – Владимиру Михайловичу надо было прокормить одиннадцать человек: детей и стариков.

Началась война. В начале июля в Дмитрове закрыли Сретенскую церковь. Голицын бросился спасать иконы. Иконы XV–XVII веков были расколоты. К счастью, не все. Ему с

сыновьями с трудом удалось вывезти на тележке восемь икон. Сдал их в местный музей. А в 60-х годах сотрудники музея имени Андрея Рублева обнаружили, что в Дмитровском музее из икон сделали полки.

А 22 октября 1941 года, когда немцы подошли к Дмитрову, В.М. Голицына арестовали – добирали уцелевших аристократов. Из Москвы этапом отправили в город Свяжск Татарской АССР. Только через год ему удалось узнать, что семья уцелела и наладить переписку. Он писал: «Дорогие мои! Наконец, вчера получил открытку... Вы, мои близкие, все живы и здоровы и выжили без меня... Живу в исправительно-трудовой колонии, бывшем старинном монастыре в г. Свяжске... Я очень, видимо, переменялся. Все здесь зовут меня дедушкой...».

Ему был 41 год!

Другое письмо: «Живу сегодняшним днем – ни о чем думать не могу. Мозги засохли. Память ослабела. Туп я стал старчески... Пайки хлеба здесь (как и во всех лагерях) часто бывают с довесками, которые прикалывают сосновой палочкой... Нижняя корка иногда бывает горькая. Я ее скребу в кружку и лью немного воды. За ночь получается настой. Утром наливаешь в него кипяток, и получается восхитительный напиток вроде кофе...».

Он умер в Свяжском лагере в 1943 году. Умер от пеллагры – болезни, вызванной голодом.

В стене Свяжского монастыря теперь вделаны два известняковых камня с именами В.М. Голицына и С.В. Олсуфьевой, его и датами их смерти. Голицын скончался на руках у Софьи Владимировны Олсуфьевой. Она успела сообщить семье о его смерти и вскоре умерла сама.

Трое детей Владимира Михайловича, оставшиеся сиротами, выросли. Елена Владимировна, в замужестве Трубецкая, стала архитектором-реставратором. Михаил Владимирович – доктор геолого-минералогических наук, профессор, член Академии естественных наук. А Илларион Владимирович стал художником, членом Российской Академии художеств. Это ему писал отец из Свяжского концлагеря: «Ларюшка, рисуй больше! Попробуй портреты. Для меня мам'а нарисуй!».

Семья Трубецких

У Трубецкого есть чувство природы.

Он восхищался весенней ночью на токах.

Я спросил его: А в Готчине на токах были голоса этих птиц?

- Были, - ответил он, только я тогда их не понимал. Вероятно, без горя это и нельзя понять: сравнить не с чем было тогда.

М.М. Пришвин. Дневники.

13 мая 1928 г.

В 1931 году вышла книга рассказов В. Ветрова «Веселые охотники». Начинаясь она так:

«Вместо предисловия

– Отчего вы не написали предисловия к своей книге? – спросил редактор, перелистывая мою рукопись.

– А разве это так уж необходимо? – в свою очередь задал вопрос я.

– Разумеется, книжка без предисловия, это... как вам сказать... ну, все равно, что поросенок без хвостика. Словом, это куцая вещь.

Я был в затруднении. Дело в том, что я лично никогда никаких предисловий не читаю, потому что всегда прямо люблю переходить ближе к делу. Я откровенно высказал редактору эту мысль.

– Писать предисловие... о, это вовсе не трудно! Напишите несколько красивых слов о том, как следует понимать ваших героев, укажите, что ваши рассказы вымышлены... скажите, наконец...

– Стойте! – прервал я редактора. – Приключения Боченкина и Хвоща не вымышлены, и все, что тут написано, все это действительно с ними было.

Редактор подмигнул мне и хихикнул.

– Рассказывайте сказки!.. Кто же вам поверит, что ваши приключения – правда!

– А почему, собственно, им не быть правдой?

– Да потому, что это охотничьи рассказы.

– Что же, или нет правдивых охотников? А охотничьи рассказы и вранье, по-вашему, одно и то же?

– Будем откровенны... – перебил меня редактор. – Ведь вы же не можете поклясться, что все, что вы тут пишете про Боченкина и Хвоща, правда?

– Клянусь экстрактором моей централки Веблея и Скотта!

Редактор пожал плечами и с нескрываемой иронией посмотрел на меня. Странное дело: чем больше искренности вкладывал я в свои уверения относительно правдивости описанных здесь приключений, чем больше я клялся, – тем тоньше улыбался редактор, давая мне этим понять, что я просто отчаянный остряк.

Когда после получасового бесплодного спора я вышел из кабинета редактора в соседнюю комнату, до меня донесся в открытую дверь редакторский голос:

– Ох, уж эти мне охотнички... черт их знает, что это за люди: сами знают, что врут, а поди же!..

С минуту я колебался, вернуться ли мне в кабинет, или же оставить эти слова без последствия... В кабинет я не вернулся, однако решил, что умышленно не сделаю никакого предисловия к своей книге, прямо представив ее на суд читателя. Он сам должен решить, кто из нас прав: я или редактор».

По правде говоря, рассказы эти в известной мере были плодом коллективного творчества. Приезжал князь Владимир Сергеевич Трубецкой (1891–1937) в Москву к своим родственникам Голицыным. Садился за стол. И кто-нибудь говорил, например: «А что будет, если в богородицком пруду заведется крокодил?» все начинали горячо обсуждать это предположение и рождался сюжет рассказа «Аллигатор с реки Миссисипи». А художник Владимир Михайлович Голицын делал иллюстрации к рассказу о том, как два охотника – Боченкин и Хвощ – ловили в пруду крокодила. Боченкин изображался маленьким, с очками на длинном носу, а Хвощ – высоким, очень худым, в обтрепанных обмотках на ногах, похожих на два стебля хвоща: отсюда и прозвище охотника. На самом же деле это был шаржированный портрет автора рассказов – В.С. Трубецкого.

Начало его пути в литературе относится к 1920-м годам. Подстрелил он однажды в Богородицке галку необычного светло-песочного цвета. Привез в Москву, в Зоологический музей. Явление это, называемое хроматизмом, очень редкое, и галку собирались купить для музея за баснословную цену. Но не было какого-то начальника, и покупку отложили на следующий день. Трубецкой, радостный, пришел к Голицыным, галку положил в прихожей на сундук. А пока целовался и обнимался с родными, галку стащила кошка.

Голицыны посоветовали Трубецкому написать рассказ об этом происшествии, что он и сделал. Рассказ назвал «Миллиард за галку». Название в редакции исправили на «Драгоценная галка» – не разрешалось упоминать астрономические цены, которые установились в нашей стране в начале 20-х годов. Рассказ напечатали в журнале «Всемирный следопыт». Он был принят читателями, и охотничьи рассказы В. Ветрова стали следовать один за другим. Они отличались мягким юмором, ироничным отношением автора к самому себе. А В.М. Голицын, иллюстрировавший их, получил известность не только как художник-маринист, но и как художник-юморист.

Можно было предположить, что и В.С. Трубецкой, и В.М. Голицын, эти талантливые, остроумные люди, проживут свою жизнь легко и весело. Но они были князьями... Это и определило их судьбу.

Владимира Сергеевича с юности влекло море. Он поступил юнгой на миноносец. Но... влюбился. Влюбился так, что, как вспоминал впоследствии, «каждая боле или мене продолжительная разлука с ней переживалась бесконечно тягостно». Надо было решиться: или море, или любимая. Он отказался от моря, поступил в лейб-гвардии Ее Величества полк синих кирасир. Сначала надо было прослужить год рядовым, потом сдать экзамены на офицера. Трубецкому, одному из немногих, сдававших экстерном, удалось

их выдержать. В 1912 году он получил первый офицерский чин корнета и женился на своей избраннице – княжне Елизавете Владимировне Голицыной.

Но учения, парады, веселая гвардейская жизнь в Гатчине, где стоял полк, длились недолго – началась Первая мировая война. Она оказалась совсем непохожей на военные игры, которыми так увлекался в детстве Владимир Трубецкой. Впоследствии он рассказывал своим детям некоторые эпизоды. Его сын Андрей запомнил такой рассказ: «...на проволочном заграждении висел весь в крови, но еще живой молоденький красивый немецкий офицерик, и кто-то его добивал. Мне передалось чувство общего ужаса войны и жалости отца к этой ее жертве».

Нервное потрясение, обострение туберкулеза, ранение в 1915 году – в результате всего этого Трубецкого во время войны несколько раз отправляли на лечение. В то же время были замечены его выдающиеся способности: он был назначен командиром созданной впервые в Российской армии отдельной автомобильной ротой. Сражалось это подразделение на Юго-Западном фронте.

Октябрь 1917 года застал Трубецкого в Москве. В дни октябрьских боев, когда выходить на улицу было опасно, умерла от скарлатины его первая дочь Татьяна.

В январе–феврале 1918 года Трубецкой принял участие в попытке группы офицеров освободить царскую семью, находившуюся в Тобольске. Попытка, как известно, не удалась. Один из ее организаторов – Михаил Сергеевич Лопухин, родственник Трубецких – был вскоре расстрелян. Другие участники скрывались в эмиграции, а Трубецкого, действовавшего в этой группе под вымышленной фамилией, так никто и не разоблачил.

В Москве становилось все хуже. Многие семьи уезжали, спасаясь от голода, в провинцию. Трубецких и Голицыных пригласила в город Богородицк Тульской губернии графиня Вера Владимировна Бобринская, сестра Елизаветы Владимировны Трубецкой. События, происходившие на охоте в окрестностях этого города, и послужили сюжетами для многих рассказов Трубецкого.

Но он увлекался не только охотой. Во флигеле дворца Бобринских по вечерам устраивались настоящие концерты, на которые многие зрители приходили даже из города. Владимир Сергеевич играл на виолончели, Софья Николаевна Голицына или Вера Владимировна Бобринская – на рояле, пленный австриец – на скрипке, а певцы были из Богородицка. Исполняли и классическую музыку, и сочинения Трубецкого.

В послереволюционные годы в России было необыкновенное увлечение театром. Не избежали его и Богородицке. Старшие дети Голицыных и Бобринских ставили сцены из «Ревизора», «Горя от ума», «Каменного гостя», используя костюмы из графских сундуков. Режиссером был Трубецкой. Окрыленный успехом, он написал комедию «Тетя на отлете». Спектакль имел еще больший успех. Зрители просили о новой постановке. Владимир Сергеевич задумал поставить комедию с веселыми песенками. Но этим замыслам не суждено было осуществиться: пришли известия о расстреле царской семьи и Михаила Лопухина, близкого родственника Голицыных. А вскоре, когда вечером, как обычно, музицировали, в дом ворвалась группа солдат и матросом. Они арестовали троих членов семьи, в том числе и Трубецкого. Однако вскоре всех отпустили.

Но вскоре нагрянула новая беда: Бобринских и их родственников выселили из флигеля. Пришлось поселиться по разным частным квартирам. Тут опять арестовали В.М. Голицына, Л.А. Бобринского и В.С. Трубецкого и увезли в Москву, в Бутырскую тюрьму. И на этот раз все обошлось – через месяц их отпустили.

А потом их арестовали в третий раз – уже как заложников: к городу подходили войска Деникина. В Тульской тюрьме арестованных содержали впроголодь, их одолевали вши, клопы и блохи. У Трубецкого вновь обострился туберкулез. Заложников все же не расстреляли – Деникин отступил. Однако Трубецкого не освободили, как остальных, а как военнообязанного отправили в московский госпиталь. Там его подлечили и мобилизовали в Красную армию. Направили в Орел, в распоряжение командующего Южным фронтом. Дали паек. Тогда он решил рискнуть и заехать в Богородицк, чтобы отдать часть продовольствия семье. Здесь, ночью, через несколько часов после приезда, он был снова арестован. Не помог и мандат, выданный ему в Москве. В Тульской тюрьме у Трубецкого опять обострился туберкулез, и после пребывания в тюремной больнице его, совсем больного, выпустили. Он вернулся в Богородицк.

И снова были театральные постановки, и снова Владимир Сергеевич играл на виолончели и дирижировал оркестром, а, кроме того, работал ремонтником в Богородицком военкомате: отбраковывал мобилизованных в армию крестьянских лошадей. Жена его, мать четверых детей, «ради дополнительного пайка играла в оркестре на барабане, – вспоминал С.М. Голицын. – Была она бледная, хрупкая, измученная недоеданием и недосыпанием. Огромный армейский барабан совсем не подходил к ее тоненькой, изящной фигуре. Она сидела с краю сцены и, держа палочки наготове, вслушивалась в музыку, стараясь не пропустить такт, вдруг взмахивала палочками и изо всех своих малых сил стучала по барабану. Случалось, она приводила на репетиции своих деток. И они, бледные, кудрявые, прелестные, как ангелочки, примостившись в уголку, сидели неподвижно, терпеливо ожидая, когда мать позовет их домой».

Позже Трубецкой сочинил оперетту, использовав одну из новелл из «Декамерона» Боккаччо. Ее поставили в начале 1922 года, и она имела большой успех. Написал он еще одну оперетту, повез в Москву но, хотя тогдашнему опереточному «королю» Ярону она понравилась, ее не приняли – не было в ней показано классовый борьбы. Пропала надежда на гонорар.

Однако Трубецкой не унывал. Продолжал отбраковывать лошадей в военкомате, дирижировать оркестром, охотиться...

Хорошим подспорьем были посылки американской организации помощи голодающим в России (АРА), на которые заграничные родственники Трубецких вносили доллары. Попробовали Трубецкие завести живность – Владимир Сергеевич купил трех черных кур и черного поросенка, уверяя что черный цвет идет к его дому. Но тут его постигла неудача: кур слопала черная же собака, а поросенок издох.

Кирилл Голицын, родственник Трубецких, приезжал в Богородицк в ту пору, он так вспоминал эту семью: «Особенно мы любили посещать Трубецких. Дядя Владимир, помимо неиссякаемого остроумия, обладал свойствами, которые мы, мальчишки, особенно в нем ценили: он держался с нами как с равными себе, почти как со своими

товарищами, не допуская нас, однако, до панибратства. С ним всегда было легко, весело. Неизменным расположением встречала молодежь и тетя Эли (Е.В. Трубецкая. – Т.С.). Ее, из всех сестер моего отца, моих теток, я любил, пожалуй, больше всех. Меня всегда привлекала в ней ее ласковая родственность и приветливость».

В 1923 году все начали разъезжаться из Богородицка. Владимир Сергеевич не нашел работы в Москве, и семья Трубецких поселилась в Сергиевом Посаде, где тогда жили многие их родственники и знакомые. Сняли три комнаты на втором этаже дома на Огородной улице. Вскоре детей стало шестеро. В первое время у Трубецких были две прислуги, что освобождало Елизавету Владимировну от домашних забот, и она могла уделить много времени воспитанию детей. Позже прислуги не стало.

Владимир Сергеевич зарабатывал игрой в оркестре ресторана «Смычка» и еще работал тапером в кинотеатре, сопровождая музыкой немые кинофильмы. Помогали и заграничные родственники, так что материальное положение семьи в годы НЭПа было сносным.

Однако время от времени Трубецкого арестовывали. Так, первый арест в Сергиевом Посаде произошел в начале 1925 года. Поводом для него, вероятно, был сохранившийся в деле донос о том, что на Троицын день встречались князь Трубецкой, князь Голицын, граф Олсуфьев, Вишняков, Шик и Истомин за чаем и о чем-то беседовали – подслушать не удалось.

Елизавета Владимировна учила детей английскому и французскому языку, читала им русские сказки и сказки братьев Гримм. Андрей Владимирович Трубецкой вспоминал: «Естественно, что мать занималась и нашим религиозным воспитанием. Читала нам Священное писание, а на ночь мы все вместе с ней вслух молились. Дома отмечались все церковные праздники, особенно Пасха и Рождество. Оно особенно запомнилось елкой и чулками, которые родители делали всем детям. По сей день буквально осязаю это чувство чего-то радостного, приятного и большого. Ярко вспоминается утро, вернее, еще темная ночь, но кто-то из нас уже проснулся и потянул туго набитый, весь в твердых выпуклостях чулок, привешенный к спинке кровати, набитый чем-то вкусным, приятным и интересным. Шорох разворачиваемой бумаги, радостные тихие возгласы. Но вот у кого-то посыпались на пол орехи. А за стеной сонные и кажущиеся недовольными возгласы родителей: "Тише, еще рано, спите!"... Какой там спать! Мы все громче разворачиваем подарки Деда Мороза, делимся сладостями и впечатлениями – целый каскад вкусовых, слуховых и осязательных ощущений. Но вдруг по полу у кровати обнаруживается игрушечный конь или кукла – опять громкий восторг.

А на Страстной неделе надо было обязательно донести из церкви горящую свечу и затеплить дома лампадку "святым огнем". На улицах целые вереницы мерцающих в сумерках живых огоньков, расходящихся от нашей церкви на Красюковке. Заутреня, церковь полна народу, и мы, дети, там. В праздничные дни зажигались свечи на высоко висящем большом паникадиле. Зажигались от одной, соединенной толстой ворсистой ниткой со всеми остальными свечами. Но вот надо опускаться на колени, и мы, конечно, садимся на пятки. Причастие... во рту до сих пор остается вкус теплого и сладкого кагора, а

в душе – чувство чего-то значительного и торжественного. Признаюсь, что какого-то религиозного трепета, экстаза я никогда не ощущал, принимая все просто как должное.

В Пасхальную ночь дома уже готовый, полный яств стол с пасхами, куличами, крашеными яйцами и другими вкусностями...

Вот так и жили мы в те спокойные и, все в сравнении, благополучные годы...

Отапливались наши комнаты двумя печами: русской, в которой готовили еду (эта печь входила одной стороной – белой, кафельной – в столовую) и круглой, черной голландкой. Забираться на русскую печь зимой было большим удовольствием. А по вечерам все смотрели на красные угли с голубоватыми, чуть колеблющимися язычками, на волшебную, все время меняющуюся картину и наперебой говорили, что кому представилось в разных местах печного пространства. Заводилой и, несомненно, первенствующим фантазером здесь была Варя (старшая дочь Трубецких. – Т.С.).

Она же устраивала шарады, ставила различные сценки, отделив занавесом (простыней) часть комнаты, где как раз и стояла голландка... Поэтические дарования Вари проявились довольно рано, а Гриша (старший сын Трубецких. – Т.С.) неплохо рисовал. Эти таланты воплотились в издание семейного журнала на злобу дня...».

В 1924 году у Трубецких в Сергиевом Посаде побывал их родственник Сергей Михайлович Голицын. Он писал в своих воспоминаниях: «Седьмого января, то есть, как это не странно, в первый день Рождества, начались школьные каникулы. Меня позвали к себе Истомины в Сергиев Посад. Я поехал вместе с дядей Владимиром Трубецким. Приехали мы поздно, и первую ночь я провел у него.

Утром проснулся рано, меня разбудили детки (мои двоюродные) – кудрявые, хорошенькие, одни темные, другие светлые. Стоя в одних рубашонках, они обступили мое ложе на полу и пихали на меня стройную английскую гончую собаку.

Обстановка квартиры Трубецких была обычной для обстановки бывших людей, самая простая мебель: шкаф, стол, табуретки, лавки перемежались с мебелью красного дерева, но поломанной. На стенах висели изящное, овальной формы зеркало, охотничье ружье в добротном чехле с инкрустациями и большой портрет прабабушки – дочери фельдмаршала Витгенштейна в тяжелой золоченой раме».

Описывает С.М. Голицын и охоту, на которую Трубецкой взял двух мальчиков – Сергея Голицына и Сергея Истомина. Ходили с гончим выжлецом Орлом.

«Впервые в жизни, – писал С.М. Голицын, – я попал в хвойный еловый лес зимой. Дядя Владимир показывал нам многочисленные следы зверей и птиц на снегу – заячьи, лисьи, собачьи, то и дело попадались янтарные кучки зернышек – помет рябчиков и тетеревов, снегири ворошили на дорогах конский навоз. Тогдашний зимний лес был полон жизни, а теперь снег в лесу лежит белый-белый, никаких следов, никаких кучек помета нет.

Не помню, убили ли мы тогда кого-либо. За рябчиками дядя Владимир не охотился, а зайцев нам не попадалось. Зато я запомнил красоту леса – елки, осыпанные снегом, синие тени на снегу и то наслаждение лесной красотой, которое охватило моего дядю и передалось нам...».

В конце 1920-х годов Трубецкой по поручению журнала «Всемирный следопыт» несколько раз отправлялся в командировки в Астраханский заповедник, в Среднюю Азию,

печатал очерки о своих поездках. Тридцатого сентября 1927 года Михаил Пришвин записал в дневнике: «Был у меня Трубецкой, проделавший в тайге то, что я когда-то продела на севере, убил медведя. Это путешествие преобразило его, и он из дебрей тайги явился к нам князем».

С ликвидацией НЭПа закончилось и относительное благополучие Трубецких. «Нам грозит голод, хлеба нет», – писал 5 июля 1928 года В.М. Голицын, отец Елизаветы Владимировны Трубецкой. В списке лиц, лишенных избирательных прав (1926 год), значились и Трубецкие. При этом против имени Владимира Сергеевича в качестве обоснования такого решения было записано, что он является лицом, живущим на нетрудовые доходы, и дано пояснение: музыкант.

Когда в конце 1928 года вели карточки на хлеб, Трубецкие, как лишенцы, их не получили. А весной 1929 года Владимир Сергеевич потерял работу музыканта. Запись в дневнике М. Пришвина от 4 апреля 1929 года: «Трио. Скрипач, пианист и виолончелист Трубецкой, выступая в кино постоянно и часто на всяких вечерах за пять лет завоевали сердце сергиевской публики. Даже старушки приходили послушать трио и, роняя слезы при нежных мелодиях, говорили о Трубецком: «Самому царю князь играл, а теперь кому». На простой дудочке князь Трубецкой с аккомпанементом пианиста и второй скрипки играл так очаровательно, что раз даже начальник милиции не выдержал, послал музыканту записку, и Трубецкой объявил свой номер: "По требованию начальника милиции будем исполнять "Не искушай"».

Все пять лет Трубецкой за происхождение лишен избирательного голоса, но по простоте начальства состоял членом профессионального союза работников искусств («лишенцы» не имели права быть членами профсоюза. – Т.С.). В нынешнем году его, как лишенца, "разъяснили" и уволили из членов Всерабиса. Вместе с этим, как не состоящий в союзе, он автоматически был уволен из кино. Скрипачу и пианисту предложили взять себе сотрудника из Москвы, но по сочувствию к Трубецкому, по любви к своему искусству они отказались играть с неизвестным московским музыкантом, и трио распалось».

Особое отношение населения Сергиева Посада к Трубецкому отметил М. Пришвин и в другом месте своего дневника: «Все решительно, даже те, кто боролся в революцию против привилегированного сословия с яростью, называют Трубецкого "князем". Он высказывался, что принимает титул в смысле "барона" из "Дна" Максима Горького. Но это неправда, его называют по чувству симпатии к его необыкновенной простоте, выражая этим: "хотя у нас и нет князей, а вот тебя за твою простоту будем называть князем"».

В конце 1929 года В.С. Трубецкой потерял и работу во «Всемирном следопыте»: по желанию Максима Горького, не одобрявшего приключенческую литературу, журнал был закрыт.

В 1930 году Анна Сергеевна Голицына писала дочери в Париж: «...Очень жалкое положение Трубецких, очень уж у них не хватает жалования Владимира. Я приехала – как раз у них не было дров, почти не было картофеля, а уж о жирах и не говори. Был пустой суп – вода с картофелем, а на второе картофель с солью... Я привезла от Вовика 20 руб. дедушке, но пришлось отдать Трубецким. Купили воз дров, и картофеля, и конину (лошадиное мясо). Когда я уезжала, Владимир должен был получить жалование, которое

сейчас же рассеется: у них 300 руб. долга. У детей валенки развалились и нельзя их отдать починить, и дети мерзнут, особенно страдает Варя, у которой обмороженные ноги, и ужасно распухают и болят от холода. Мы стараемся сейчас продать красные покрывало со старинной вышивкой в их пользу».

Трубецкой решил поправить положение, разводя кроликов. В 1930 году ему разрешили отвезти на лечение к родственникам во Францию старшего сына Григория, тяжело болевшего астмой. Оттуда Владимир Сергеевич и привез кроликов породы шиншилла. Кролиководство тогда поощрялось партией и правительством. «Но, – как пишет А.В. Трубецкой, – дело не шло, кролики дохли, и мрачный юмор голодного народа тех лет прозвал кролика "сталинским быком"». Не избежали общей судьбы и кролики Трубецких.

Летом 1931 года дом на Огородной улице, где жили Трубецкие, у его хозяина отобрали, так как он владел еще двумя домами. Трубецким пришлось переехать на улицу Нижнюю, нынешнюю Митькина (дом не сохранился), а Владимир Михайлович Голицын, живший с ними, был вынужден уехать к другим своим родственникам в Дмитров. На новом месте все Трубецкие ютились в одной, очень сырой комнате.

«Жизнь на Нижней улице стала довольно скудной, а порой и просто голодной, – вспоминал А.В. Трубецкой. – На маленькой плите, которая нежадно дымила, отапливая нашу комнату, мать варила пустые щи, пшеничную кашу на воде или картошку. В качестве приправы иногда жарился лук на небольшом количестве сметаны».

Гриша скучал во Франции по дому, и осенью 1931 года Трубецкой уехал за ним (возможно, именно эти поездки сыграли в дальнейшем роковую роль в судьбе Владимира Сергеевича). Но проживание больного мальчика в сырой (на стенах собирались капельки воды) комнате, где, кроме него ютились еще восемь человек, спровоцировало тяжелейшие приступы астмы.

Елизавета Владимировна Трубецкая была вынуждена подрабатывать, делая переводы статей из технических журналов для НИИ Птицеводства (она знала итальянский, французский и английский языки).

Появился у нее и еще один заработок. Она писала бесцветными чернилами (раствором ляписа) на маленьких бумажках всяческие «пророческие» изречения для одного фокусника-гадателя, выступавшего на рынках. Потом фокусник предлагал кому-нибудь из толпы вытащить из пачки такую бумажку и опустить ее в пустую бутылку. После встряхивания фокусник вынимал бумажку – на ней была видна надпись (в бутылку он заранее капал раствор сероводорода, который и делал текст видимым).

Чтобы прожить, Трубецкие продавали уцелевшие драгоценности в торгсин. А.В. Трубецкой вспоминал, что «однажды отец пришел домой, нагруженный кулками с крупой, мукой, какими-то жирами. На вопрос матери: "Откуда?" – он молча показал кисть правой руки уже без обручального кольца». Беззаботный, даже порой легкомысленный, он в эти годы, по воспоминаниям сына, «выглядел преимущественно суровым и озабоченным житейскими нуждами».

Весной 1933 года Трубецкого арестовали, обвинив в «контрреволюционной агитации среди местного населения». Вскоре его отпустили, но, как выяснилось уже в 1990-е годы, тогда его дело передали в Иностраннный отдел ОГПУ.

Меньше чем через год арестовали снова. На этот раз он проходил по так называемому делу «Российской национальной партии» («делу славистов»). В конце 1933 года арестовали нескольких крупных лингвистов (славистов), в том числе Н.Н. Дурново и его сына Андрея. При обыске изъяли три книги Николая Сергеевича Трубецкого, которые Н.Н. Дурново привез из-за границы, и записную книжку А.Н. Дурново с выписками из сочинений Н.С. Трубецкого.

Старшая дочь В.С. Трубецкого Варя была невестой Андрея Дурново. Ее арестовали 31 декабря 1933 года, прямо с новогоднего вечера, а через несколько дней взяли и Владимира Сергеевича.

Уже к марту 1934 года дело было сфабриковано. В обвинительном заключении сказано, что «существовала разветвленная контрреволюционная национал-фашистская организация "Российская национальная партия", ставившая своей целью свержение Советской власти и установление в стране фашистской диктатуры... Контрреволюционная организация "НРП" была создана по прямому указанию заграничного русского фашистского центра, возглавляемого князем Н.С. Трубецким, Якобсоном, Богатыревым и др.». Сказано было также, что «систематическая связь членов организации с этими учреждениями осуществлялась путем вывозов членов организации за кордон (Державин, Дурново Н.Н., Трубецкой В.С. и др.)».

По этому делу было осуждено 34 человека в Москве и 26 – в Ленинграде. По приговору суда Трубецкой был сослан на 5 лет, а его дочь Варвара – на 3 года в г. Андижан Узбекской ССР. Варваре «по молодости лет» срок сократили до двух лет, но ей об этом не сказали. А.В. Трубецкой, узнав об этом в 1990-е годы, очень сокрушался: если бы тогда знать, Варя могла бы уехать и, может быть, спастись.

Жена с детьми последовала за мужем. Там, в ссылке, в 1934 году родился их последний ребенок, Георгий. Трубецкой зарабатывал, играя в ресторанном оркестре. В Андижане он начал писать мемуары и успел описать гвардейский период своей жизни. Рукопись сохранилась чудом: когда в 1937 году пришли с обыском, один из сыновей сумел спрятать ее. Впервые она была опубликована в 1991 году под названием «Записки кирасира». А ее автора тогда увели навсегда. Приговор: «10 лет без права переписки». В справке, полученной сыновьями в 1990 году, в графе «Причина смерти» указано – «Расстрел».

Арестовали и троих старших детей Трубецких: Григория, Варвару и Александру. Варвару расстреляли вместе с отцом, ей было 20 лет. Григория и Александру приговорили к 10 годам заключения в лагере.

Много лет спустя Илларион Голицын написал картину «Трубецкие». Возвышается фигура В.С. Трубецкого в белом парадном мундире полка синих кирасир лейб-гвардии Ее Величества императрицы Марии Федоровны. Мундир сохранился, как память – в нем князь венчался. Елизавета Владимировна стоит на картине рядом с мужем, держит на руках ребенка. Это еще не родившийся тогда Георгий. Он появился на свет уже Андижане, куда семья уехала из Сергиева Посада вслед за высланными главой семьи и старшей дочерью Варварой. Рядом с родителями дети: Григорий, Варвара, Александра, Андрей, Владимир, Сергей. Одна из знакомых Трубецких вспоминала: «Детей было так много, что

трудно было их не спутать. Двое старших еще выделялись. Остальные ходили гурьбой или вереницей, все худенькие, бледные, с большими глазами и худенькими голыми ручонками и тоненькими ножками. Они напоминали паучков... Старшему мальчику Грише было лет 9, а за ним шла девочка Варя лет 7. Этот мальчик Гриша поражал страдающим выражением глаз, совершенно недетских. Он страдал астмой, ему нельзя было бегать, он задыхался.... Нельзя было на него смотреть без чувства глубокой жалости».

В 1937 году Гришу арестовали и приговорили к 10 годам лагерей. На картине он стоит по левую руку от родителей.

О Варе вспоминала другая знакомая семьи: «Пришла к нам такая худышка, замухрышка девочка. И вот я надела на нее своего белого песка, прикрыла немного ее плечики – эта фотография есть – и эта девочка такая стала хорошенькая, в ней сразу княжна появилась». Варю взяли прямо со встречи Нового – 1934 – года. Ей было 17 лет. Выслали вместе с отцом в Среднюю Азию, а в 1937 году снова арестовали и расстреляли. На картине она вторая с правой стороны от матери.

С краю, на коленях, ее сестра Александра. Ее школьная подруга вспоминала: «Особый след в душе оставила Шура Трубецкая. Дома ее Татей звали. Знаете, к ней даже блатные мальчишки относились с нежным чувством. Она действовала облагораживающее. Была в ней какая-то кристальная чистота. И даже обормоты на нее смотрели, как на что-то святое... Трубецких выслали в Среднюю Азию. Седьмой класс Шура не успела закончить. А в восьмой ее там не приняли. Она писала мне. Только ее письма сохранила».

Татю арестовали в 1937. В лагере она заболела смертельно.

Дольше всех дочерей оставалась с матерью младшая – Ирина. Она стоит, прижавшись к матери, с левой стороны.

А справа от матери, чуть позади, видна длинная фигура Андрея. Возле него две надписи: «воин» и «зэк». Впереди него маленький синеглазый мальчик Сергей. За свои огромные глаза он получил в детстве прозвище «Озера». «Сергей был очень впечатлительным мальчиком, вспоминал Андрей. – Он не мог спокойно слышать музыку похоронного оркестра. Заслышав еще издали первые звуки, он весь настораживался, напрягался, его “озера” еще больше расширялись, затем начинал кричать и убегал домой в панике». У родителей не было возможности учить ребенка музыке, но в дальнейшем, благодаря идеальному слуху, Сергей стал первоклассным настройщиком роялей. С краю на картине стоит с удочкой Владимир. Рядом с ним на траве белая собака. Неподалеку от дома, где жили в Посаде Трубецкие, находится Скитский пруд, и мальчики проводили там немало времени: купались, ловили рыбу, катались на плотках и на лодках. А так как Владимир Сергеевич был страстным охотником, в 1920-е годы в доме была и охотничья собака. Но, кажется, художник изобразил не охотничью собаку, а просто дворняжку – в 1930-е годы из-за нужды породистых собак уже не держали.

Андрей, Сергей и Владимир – воины.

Андрея призвали еще в 1939-м, так что он оказался в боях с первого дня войны. Вскоре его тяжело ранило под Гдовом, и он попал в плен. Оказался в Вильнюсе, в госпитале для военнопленных. Из-за «громкой» фамилии о нем узнал родственник, находившийся в Литве, и получил разрешение взять его из госпиталя, как прямого

потомка Великого князя Литовского Гедимина (в XXI колене). Имя Гедимина носила тогда главная улица Вильнюса. А.В.Трубецкой подлечился и окреп. Побывал даже у родственников в Вене. Но мечтал вернуться домой. Наконец, ему удалось с несколькими товарищами попасть в польский партизанский отряд, действовавший в лесах под Кенигсбергом. Потом перешел в советский партизанский отряд. Отряд соединился с регулярными частями Советской Армии. Трубецкой был ранен в боях под Кенигсбергом, награжден орденом Славы 3-й степени. Встретил день Победы на подступах к городу Цвितтау в Германии. При мне Андрея Владимировича спросили: «Почему вы вернулись? Вы же могли остаться за границей» Он ответил: «Из-за Родины и из-за матери».

Владимира призвали в начале 1943-го. Он участвовал в битве на Курской дуге. Был сапером, потом служил в разведывательной роте танкового полка. С боями дошел до Одера. При переправе его ранило в ногу. Вывалился из лодки. Противоположный берег был ближе, и он поплыл туда, а немцев-то еще не выбили. Пролежал сутки в ледяной воде у берега. На другой день наши подобрали, отвезли в госпиталь. Простудившись в ледяной воде заболел воспалением легких... Не до ноги было. И ногу пришлось ампутировать. Вернулся он с орденом Красной Звезды и медалями. Поступил на исторический факультет МГУ.

Сергей попал на фронт в 1944-м, в бронетанковые войска. Участвовал в битве на Сандомирском плацдарме. Его танк подбили, а сам он получил ранение в ногу. Из госпиталя вышел инвалидом.

Вернулись братья-воины, а матери нет. Она оставалась в деревне под Талдомом (за 101-м километром). Туда перебралась после ареста мужа и старших детей. Родственники помогли купить пишущую машинку – немного удавалось заработать перепечаткой. Младший ребенок был такой худенький, прозрачный, как стекло, что брат дал ему прозвище «Стеклярус». Еще хуже стало, когда началась война. Георгий вспоминает: «Лебеду ели, мороженую картошку ели, дохлую кошку ели... Спать было невозможно из-за вшей. Мать уходила по деревням побираться, приносила 5-6 картошинок, иногда кусок хлеба». К Трубецким подселили эвакуированную, жуткую пьяницу. Узнав об их происхождении, она стала требовать у Трубецких денег на водку, и однажды донесла на «недобитую княгиню».

Георгий помнит, что пришли двое в белых валенках с орденом, обнаружили при обыске белый мундир с золотыми пуговицами – мундир офицера кирасирского полка. «Надо было видеть выражения их лиц – не иначе самого Гитлера поймали. Эти, которые в белых валенках, все унесли и маму увели. Больше я ее не видел, через два месяца она умерла в тюрьме». Елизавета Владимировна успела только перекрестить сына. Он остался, восьмилетний мальчик, на печке, больной тифом.

Вернулись с войны братья, а дома нет. Брат Гриша в лагере в Сибири. Татя умерла. Ирина ездила по стране в почтовом вагоне. Об отце и Варе ничего не известно. Тогда не понимали, что «10 лет без права переписки» значило – расстрел. А на картине они еще все вместе. Это картина – воспоминание. Облик людей размыт, виден, словно сквозь слезы. Фигуры удлинены, как на древнерусских иконах. Головы будто вторят золотым главам церквей Лавры. А вдали черные машины-«воронки», черные люди с черной

собакой. Возле фигур Трубецких надписи: «зэк», «воин» и кресты с датами смерти. Может быть, впервые на картине надписи, как бывало на иконах.

Это – картина-воспоминание. Зыбкой кажется преграда между прошлым и будущим. Возникает ощущение и бренности всего сущего, и вечности жизни.

Все трое братьев Трубецких вернулись с войны инвалидами. У них не было родителей, не было дома. Но их родственник Николай Алексеевич Бобринский, профессор зоологии МГУ пригласил братьев к себе и сказал: «Пока я жив, учитесь». Спали братья на полу. Сын профессора, Николай Бобринский, спал под столом, а Николай Челищев, племянник жены Н.А. Бобринского, часто приезжавший к родным, – на шкафу. Их так и звали: Коля Нижний и Коля Верхний.

Андрей Владимирович Трубецкой после демобилизации восстановился в университете и женился на своей дальней родственнице Елене Владимировне Голицыной. В 1949 году был арестован за отказ сотрудничать с органами Госбезопасности. Был осужден на 10 лет лишения свободы. Попал в Степлаг под Джезказганом (Казахстан). Там снова отказался работать на «органы» и значительную часть срока провел в штрафной, так называемой «режимной» бригаде. Свидания и передачи были запрещены. Только два письма в год.

Однажды у контрольно-пропускного пункта шахты, в которой работали заключенные Степллага, появилась женщина в светлом платье. Это была Елена Владимировна Трубецкая.

Она стояла у вахты и думала: «За стеной, по вечерам он учится, стараясь не потерять приобретенного за три года в университете... Его стережет полсотни разъяренных собак, готовых каждую минуту разорвать всех этих черных бородатый людей. Его стерегут «синие фуражки» с пулеметами, не считая за человека, у которого есть имя и фамилия. У него есть номер и больше ничего.

А этот человек прошел Великую Отечественную войну, защищал Россию, отдавал ей свою кровь. Этот человек бежал в партизаны, на Родину, он не мог без нее жить. Этот человек, награжденный боевыми наградами за защиту своего Отечества, учился, чтобы потом все знания опять-таки отдавать своей стране. И этот человек, молодой, полный сил, имеет теперь номер на своей груди, десять лет лагеря и обвинение в измене Родине...».

Она ждала у вахты колонну заключенных. «Колонна приближалась. Черные сгорбленные люди с большими номерами на грязных серых рубахах. Некоторые в железных шахтерских касках на головах. Метрах в пяти от колонны – конвой... Подсознательно боялась увидеть Андрея сломленным, хотя знала, что этого не может случиться. Знала, что не может сломиться его сильный дух, с честью прошедший огонь и воду. А между тем иногда закрадывалась непрошенная мысль. Так же ли, высоко подняв голову и смело глядя вперед через все испытания, проходит он последние медные трубы? Вдруг совершенно явственно, близко услышала знакомый, родной и совершенно бодрый голос: "Елена!"».

Свидания не дали. Но через ряды колючей проволоки они увидели друг друга. Он был «загорелый, стройный, будто ничего и не было, будто случайно попал он в эту сгорбленную серую колонну заключенных, медленнодвигающихся с руками назад».

На второй день, когда она стояла у вахты, бригада заключенных сняла шапки и поклонилась ей – они уже знали: эта женщина приехала к мужу.

Был август 1951 года.

Вышел на свободу Трубецкой в 1955 году. Он в третий раз поступил в МГУ – ему было уже 36 лет. Окончил биологический факультет, защитил кандидатскую, а потом и докторскую диссертацию. До выхода на пенсию работал во Всесоюзном кардиологическом центре Академии наук.

Свою одиссею он рассказал в книге «Пути неисповедимы» (М., 1997).

Владимир Владимирович Трубецкой поступил на исторический факультет МГУ, женился на Ольге Александровне Несмеяновой, дочери Президента АН СССР. Работал в Институте востоковедения АН СССР, защитил кандидатскую диссертацию. Сергей Владимирович, имея абсолютный слух, стал работать в Москве настройщиком роялей.

Ирина Владимировна во время войны работала секретарем в одном из сельсоветов под Талдомом, пока после ареста матери ее не уволили. В 17 лет она осталась круглой сиротой. Работала на железной дороге, в почтовом вагоне объездила всю страну. Потом вышла замуж и работала машинисткой. В 1990-х И.В. Трубецкая возглавляла Департамент благотворительности Российского Дворянского собрания.

Георгий Владимирович Трубецкой стал зоотехником-звероводом, имеет степень кандидата биологических наук. Работает в Раменском, под Москвой, в НИИ пушного звероводства и кролиководства.

А.В. Трубецкой написал и о жизни в Сергиевом Посаде (Загорске). В книге есть яркие воспоминания о школьных годах. Вот некоторые из них.

«Учиться я пошел в 1927 году, когда мы жили еще на Огородной улице. Школа была маленькой и вплотную примыкала к церкви, в которую упирается бульварная улица все той же Красюковки (церковь Михаила Архангела. – Т.С.)... 7-го ноября школьников повели на центральную площадь города, где мне запомнился высокий шест с закрепленной на нем большой буквой "X", о чем я рассказал дома. У отца это вызвало веселое оживление: "X" – римская цифра 10-летие Октября...

Осенью 1931 года уже с Нижней улицы я пошел учиться в 5-й класс. В Загорске (уже не Сергиеве) тогда было две средних школы: "Белая" – бывшая гимназия – и "Красная", называвшаяся по цвету стен... Новый класс, новые друзья-приятели, новые педагоги. Да к тому же и новая методика преподавания. Класс – человек тридцать – сорок – разбивали на бригады, которые усаживались кучками. Раздавались листки с программой-заданием, напечатанные на папиросной бумаге. Старший по бригаде читал, а все должны были внимать. Педагог ходил от бригады к бригаде, проверяя, что и как читается, давал разъяснения.

Надо ли говорить, что эффект от такого способа овладения знаниями был очень небольшой, а экзамены не предусматривались. Такую методику обучения я застал только в пятом классе. Потом ее отменили...

Примерно тогда же были введена и пятидневка: четыре дня занятий, а пятый – свободный. И это только в школе. В учреждениях и на производстве пятидневка была еще и непрерывной: выходные дни не были фиксированными и везде свои. Можно

представить, какую это вносило путаницу и неразбериху! Позже пятидневку заменили шестидневкой, а вместо непрерывности общие выходные были в одни и те же дни: 6, 12, 18, 24 и 30-го каждого месяца, и так до самой войны. Тоже определенный умысел: вытравить из памяти воскресенье – свободный день.

Красная и белая школы стоят близко друг от друга. Тут же располагалась церковь Вознесения. И вот ее закрыли. Как обычно и везде, за церковью небольшое кладбище, и его начали крушить. В этом разорении участвовали и мои товарищи - пятишестиклассники, просто из чувства озорства и хулиганства, которое, видимо, негласно поощрялось. Все это сейчас стоит перед глазами: целая ватага носится по двору с небольшим металлическим распятием, сорванным с какого-то надгробия, глумясь над Христом, плюя на него. С горьким чувством смотрел я издали на все это и... никак не вмешивался. Да и можно ли было вмешаться? Уже одно ношение нательных крестов было просто невозможно. В бане, в школе при медицинских осмотрах, когда надо было снимать рубашку, предстать с крестом на груди... Это же вызов. И мы, люди слабые, сдавались, снимали кресты. И уже на всю жизнь. А вот брат Владимир взрослым человеком снова начал носить нательный крест.

Мощи преподобного Сергия были вскрыты, и нас, школьников, водили смотреть. Запомнился полумрак Троицкого собора, а в богатой, мерцающей серебром и золотом раке на темно-синей атласной подушке с золотыми звездами были рассыпаны потемневшие косточки. Сопровождающий педагог объяснил, что это кости барана.

Здесь стоит привести отрывок “На богомолье” из воспоминаний сестры деда Ольги Николаевны Трубецкой. В нем она описывает посещение Троице-Сергиевой Лавры в 1919 году и рассказывает, что она увидела в Троицком соборе: «Мощи Его, ничем не прикрытые, лежали под большим стеклом. Виден был сохранившийся костяной остов и на голове волосы и борода. Почти все богомольцы приходили с букетами и цветами, явно желая прикрыть ими обнаженные мощи, разбрасывали цветы по стеклу, что затрудняло монаха, или, как говорили, коммуниста в рясе, сметавшего их на пол, по мере накопления их выносили из церкви». И далее: «Надо сказать, что вообще осквернение могил одно из проявлений гнусного психоза, овладевшего известной частью коммунистической молодежи».

Добавлю, что в начале 30-х годов в Лавре была вскрыта могила нашего прапрадеда Петра Ивановича Трубецкого. Мне запомнилось возмущение отца тем, что в городе кто-то ходит в сапогах Петра Ивановича, хорошо сохранившихся на ногах покойного. Дядя Сережа (Григорьевич) Трубецкой упоминал (со слов отца), что власти якобы предложили забрать "кости родственника". Я этого не помню...

Но вернусь в школу. Мне запомнились некоторые преподаватели. Шевалдишев, тихий, даже какой-то пришибленный, сказал бы я, пожилой интеллигент, видимо еще из гимназических учителей. На одном из пальцев правой руки постоянно носил маленькую повязку, явно прикрывающую обручальное кольцо. (Вот ведь было время – обручальное кольцо – явный криминал!). Преподавал он нам биологию.

А вот совсем другой тип. Средних лет женщина, бойкая, несомненно талантливый педагог, читала нам новый предмет – обществоведение, соединявший в себе, как я теперь понимаю, историю коммунистического движения и политэкономии капитализма.

Она очень наглядно объясняла законы рынка и конкуренции на примере своей вязаной кофточки. Расхаживая по классу, она говорила так: "Вот две артели делают такие кофты. Но одна, чтоб у нее больше покупали, стала пускать по верху карманчиков цветные нитки, а цену не подняла. И кофточки эти раскупали лучше. Тогда вторая артель, чтобы не прогореть, стала вязать такие же кофты, но с пояском, при той же цене. Теперь ее товар пошел лучше.

Еще преподаватель – Соломон Абрамович Марголис, математик, тонколицый, в пенсне и слегка картавящий. Один из наших классных хулиганов – Виталька Репин – был выгнан Марголисом с урока. Время от времени в тонкую щелку двери Виталька тонким голосом тянул: "Абра-а-ша". Соломон Абрамович невозмутимо продолжал урок, а класс ждал, чем се это кончится. Кончилось звонком.

Когда я перешел в Белую школу, Соломон Абрамович сделался преподавателем пения. Из его уроков запомнился бетховенский "Сурок" и "Марш из афинских развалин". Разучивал он с нами и "Интернационал", и здесь получалось так, что фразу "Лишь мы, работники всемирной, великой армии труда..." кто-то стал чуть переиначивать, произнося не "работники", а "работнички". Соломон Абрамович сразу это уловил и заставил повторить. Но уловил не он один, и с каждым повтором все больше голосов стало выводить "работнички". Многие вообще не пели, а лишь открывали рты, но когда пение доходило до этого места, то произносилось только "чки". Соломон Абрамович остановил пение, а так как звуки "чки" доносились особенно сильно справа от него, где сидели мальчишки, то он стал поднимать каждого по одному и спрашивать, кто как пел. Не мое счастье я сидел далеко не первым. Если б меня спросили первым, то сознался бы – врать, как следует, я тогда еще не научился. Первые все отрицали, отрекся и я...

С первых уроков невзлюбил меня химик Яков Иванович, седой старик с усами. И было за что. На втором или третьем уроке он спросил меня, что было на предыдущем. Я по простоте душевной и ляпни: "Вы фокусы показывали". Как он обиделся! И потом долго еще за дело и без дела шпынял меня. Может быть, поэтому химия не давалась мне всю жизнь.

По физике я никак не мог запомнить формулы равномерного прямолинейного движения, а предстояла контрольная. Эти формулы я нарисовал себе на ладони. Причем на одной поместилось только две, и третью пришлось выписать на другой ладони. Все это делалось химическим карандашом и очень жирно. А перед физикой была химия. Яков Иванович обычно задавал вопрос, ученики тянули руки, и он кого-нибудь поднимал отвечать. Какой-то вопрос я, к удивлению, знал и поднял руку. Причем рук поднялось довольно много. Как сейчас помню, Яков Иванович прошелся взглядом по всем рукам, но потом почему-то вернулся к моей и поднял меня. Всегда ему отвечали с места, но тут он подозвал меня к столу, и я еще не догадывался почему. Я ему ответил, он спросил еще что-то. Я замолчал, а ладонями оперался на стол. Тогда он взял мою руку, повернул ладонью вверх и стал долго рассматривать формулы. Увидев только две, повернул и вторую руку, а потом показал обе руки классу и коротко сказал: "На перемене чисто вымой, чтоб следов не было". Травой в луже на школьном дворе долго я тер свои ладони. Может быть, поэтому формулы и остались в памяти...

Переводных экзаменов тогда не было, и меня, хотя и с трудом, переводили в следующий класс. Но вот оканчивая шестой класс и еле-еле набирая переходной балл, я начал задумываться о своих знаниях, о своем будущем. Стал, как говорится, братья за ум и сделал это довольно оригинально. Я подал заявление, чтобы меня оставили на второй год в шестом классе... Я сейчас думаю, что этот мой шаг – задержка образования на один год имела более глубокое и важное значение. Дело в том, что тогда было официальное ограничение на образование по признаку социального происхождения – "неполное среднее" можно, а "полное" – нет. Об этом я тогда не думал, да и не знал этого. Но задержка на один год сыграла роль: окончив на год раньше седьмой класс, я бы не смог поступить в восьмой».

В 1970-е годы Трубецкие купили крестьянскую избу в селе Озерецком в Сергиево-Посадском районе, примерно на полпути между Сергиевым Посадом и Дмитровом, где прошли детские годы его жены, Елены Владимировны Голицыной. Елена Владимировна, архитектор-реставратор, занималась в основном исследованием и реставрацией старинных московских церквей и палат. В Озерецком находится Никольская церковь, построенная в 1811 году в стиле ампир. В 1993 году эту церковь в полуразрушенном состоянии передали верующим.

Е.В. Трубецкая исследовала здание церкви, сделала обмеры, изучила фотографии разного времени, сделала эскизный проект реставрации и согласовала его в различных инстанциях. Трубецкие принимают посильное участие в реставрационных работах. Для этой цели были использованы, в частности, средства, полученные от продажи книги А.В. Трубецкого «Пути неисповедимы». Трубецкая следила за точным исполнением проекта, наблюдала за работами по восстановлению храма.

В Никольской церкви в последние годы крещены внуки Трубецких – Дмитрий и Александр.

Елена Владимировна является также членом авторского коллектива, работающего над серией книг «Архитектурные памятники Москвы XVII века», которые издаются с 1982 года, работает над любимой темой – «Бесстолпные храмы Москвы XVII века». Недавно подготовила материалы для эскизного проекта восстановления Успенской церкви в голицынской усадьбе Петрово-Дальнее. В последнее время она пишет воспоминания о своем отце.

А.В. Трубецкой в последние годы занимался составлением книги «Князь Трубецкие. Россия воспрянет!» (М., 1996), в которую вошли мемуары Трубецких. Написал он и собственные мемуары. Вторая их часть – «Пути неисповедимы» (1939–1956 годы) вышла в 1997 году. Андрей Владимирович также много работал в Военно-историческом архиве, собирая материалы о своем отце – В.С. Трубецком и изучал дневники своего деда, В.М. Голицына. И Андрей Владимирович, и Елена Владимировна много выступали на «Голицынских чтениях» в Музее-Заповеднике А.С. Пушкина «Большие Вяземы» с докладами о членах своего рода.

Каждый год 15 июля, в престольный праздник Ахтырской церкви приезжали Трубецкие в Ахтырку, пока жив был Андрей Владимирович. Он нес во время крестного хода Ахтырскую икону Божией Матери.

Н.А. Бердяев сказал в 1929 году по поводу кончины Григория Николаевича Трубецкого: «После таких катастроф поколение детей может уже потерять то высокое благородство породы и культуры отцов. Но память о таком благородном типе, выработанном длительным культурным процессом, должна навсегда сохраниться. Память сама всегда есть признак благородства, забвение же – признак неблагородства». Но опасения Бердяева были напрасны. Трубецкие не потеряли высокое благородство породы и сохранили память о предках.

Заключение

В послереволюционные годы происходила миграция дворянства и интеллигенции из Петрограда и Москвы из-за голода, холода, опасности ареста, иногда – из-за потери жилья или «уплотнения». Дворяне покидали усадьбы, опасаясь за свою жизнь, или по распоряжению властей. Но что же привлекало людей именно в Сергиев Посад, помимо очевидной близости к Москве?

Троице-Сергиева лавра с окрестными скитами являлась одним из центров духовной жизни России. К Лавре стекались в тяжелые времена верующие. Можно утверждать, что в Посад приехали после революции глубоко религиозные люди. Для атеистически настроенной интеллигенции он особого интереса не представлял. В некоторых случаях причина выбора этого города очевидна. В других, – на первый взгляд, переезд обусловлен чисто бытовыми причинами. Так, Сергей Иванович Огнев писал, что его отец, профессор Московского университета, мать и старший брат Александр переехали в Сергиев посад в 1919 году, «так как в московской квартире, за недостатком топлива, перестало работать центральное отопление, и не было газа». Однако из рассказа дочери П.А. Флоренского Ольги Павловны Трубачевой следует, что первой приехала в Посад жена профессора Софья Ивановна и «сняла комнату, чтобы помолиться в Лавре». А когда приехали муж и сын, то уже сняли весь этаж в том же доме.

Значительную роль при выборе нового места жительства, несомненно, играли родственные и дружеские связи. Почти все приехавшие общались между собой – кто больше, кто меньше. Ю.А. Олсуфьев, П.А. Флоренский, С.П. Мансуров, В.Д. Девиз, А.Н. Свиринов, М.В. Шик, В.А. Комаровский работали в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры. Те, кто не был знаком раньше, в маленьком городе узнали друг друга, ходили в гости, устраивали елки для детей. Кроме родства и старой дружбы, их объединяла общность духовных интересов, православная вера и, конечно, общие нравственные представления. Таким образом, в 1920-е годы в Сергиевом Посаде образовалась диаспора интеллигенции, в которой очень высока была доля людей, обладающих религиозным чувством – своего рода феномен, которого, видимо, не было в других городах. В дальнейшем оказалось, что так называемый «ген религиозности» эти люди передали своим детям.

Приехавшие, как правило, были людьми весьма образованными. Не только уровень образования, но и серьезные духовные интересы, высокая культура, обусловленная в значительной мере тем, что эти люди выросли в семьях с культурными традициями, позволили многим из них найти в Сергиевом Посаде применение своим силам. Это и работа в Комиссии по охране памятников искусства и старины Троице-Сергиевой лавры, Сергиевском историко-художественном музее и Музее местного края, и преподавание в открывшемся в городе Педагогическом техникуме и в школах. Значительная часть приезжих занималась творческой деятельностью: наукой, литературой, живописью. И, конечно, многим приходилось заниматься непривычной работой для заработка.

Большинство приезжих нашли в себе силы жить и трудиться в новых условиях. «В их лексиконе, как сказал сын М.В. Шика Дмитрий Шаховской, не было слова “не могу”. Раз нужно, значит – можно».

Коренные посадцы, можно сказать, относились к приезжим более или менее терпимо. В столице, например, положение «бывших» было зачастую много тяжелее. Многоквартирные дома в Москве были национализированы, и уплотнение квартир шло полным ходом. Один из жителей Арбата вспоминал о новых жильцах таких коммуналок: «...темные мужики и бабы, замачивавшие белье в ваннах, коловшие дрова на инкрустированном паркете и люто нелюбившие тех, кому это не нравилось». А в Посаде большинство домов были частными. Приезжие чаще всего снимали часть дома, так что антагонизма, характерного для коммуналок, не возникало.

В 1925 году прошла первая волна арестов и отъездов «бывших», в 1928 году – вторая, в 1933–1934-ом – третья. Как правило, арестованные получали по приговору определенное место административной высылки или «минус», то есть запрещение жить в ряде местностей. Многие из них были расстреляны в 1937–1938 годах.

Несмотря на неблагоприятные условия жизни бывших, порой крайнюю бедность, несмотря на сложности с получением образования, несмотря на репрессии, сиротство, почти все дети лиц, входивших в сергиевскую диаспору интеллигенции, стали высокообразованными людьми. Преобладающими стали у них профессии, находящиеся на стыке точных и гуманитарных наук: геолог, горный инженер, биолог. Дети расстрелянных отцов защищали Родину – им было свойственно понятие чести, не позволявшее уклониться от выполнения долга.

Режиму не удалось полностью разорвать связи между детьми «бывших», живших в Сергиевом Посаде. Это нельзя объяснить только родством, часто весьма далеким, или памятью детства. Прочность таких связей обусловлена, видимо, сходным пониманием нравственных ценностей, возможно, «геном религиозности».

Дети «бывших» чтут память своих предков. И ощущают свою собственную жизнь частицей истории нашей страны. Многие из них написали мемуары, сохранили труды предков и способствовали их публикации

Люди, названные при советской власти «бывшими», составляли энергичное и одаренное меньшинство народа. Их судьбы являются ярким примером того, что люди от природы не равны. Они потеряли после революции титулы, посты, богатство, но не озлобились. Своим трудом стремились принести пользу обществу. А те, кто захватил власть, инстинктивно чувствовали их отделенность, их высокий интеллектуальный и нравственный уровень и потому смотрели на них с враждебностью.

«Бывшие» стали жертвами террора именно потому, что были лучшими.

Известно, что народ, «побивающий камнями» своих интеллектуалов, платит за это страданиями и нищетой.

Оглавление

Вместо предисловия	2
Дом на Вальной и его обитатели	4
Олсуфьевы	4
Мансуровы	14
Комаровские	22
Первые директора музея	32
П.А. Флоренский и его соседи Огнёвы	47
Священник Сергей Сидоров и его семья	60
В доме «на краю города» (М.В. Шик и его близкие)	71
Художники в доме на Кооперативной улице	83
Павлиновы	83
Фаворские	85
А.С. Симонович и Ефимовы	92
«Граф'ы» на Красюковке	96
Истомины и князь И.С.Мещерский	96
Лопухины	101
Нарышкины	103
Челищевы	104
В доме Хвостовых	109
Хвостовы	109
Раевские	113
Князь В.М. Голицын и его родные	119
Семья Трубецких	132
Заклучение	149

Свято-Троицкая Сергиева Лавра
 Формат 60 x 84/16. Печать офсетная
 Тираж 5000 экз. заказ № 255
 Отпечатано в типографии Патриаршего издательско-
 полиграфического центра. г. Сергиев Посад